



РЕНЕ ПРЕТР

ТАМ, ГДЕ БЬЕТСЯ  
СЕРДЦЕ

ЗАПИСКИ ДЕТСКОГО КАРДИОХИРУРГА

Спасая Жизнь: истории от первого лица

Рене Претр

**Там, где бьется сердце. Записки  
детского кардиохирурга**

«АСТ»

2016

УДК 616.1-053.2

ББК 57.33

## **Претр Р.**

Там, где бьется сердце. Записки детского кардиохирурга /  
Р. Претр — «АСТ», 2016

ISBN 978-5-17-982478-7

«Едва ребенок увидел свет, едва почувствовал, как свежий воздух проникает в его легкие, как заснул на моем операционном столе, чтобы мы могли исправить его больное сердце...» Читатель вместе с врачом попадает в операционную, слышит команды хирурга, диалоги ассистентов, становится свидетелем блестяще проведенных операций известного детского кардиохирурга. Рене Претр несколько лет вел аудиозаписи удивительных врачебных историй, уникальных случаев и случаев, с которыми сталкивается огромное количество людей. Эти записи превратились в книгу хроник кардиохирурга. Интерактивность, искренность, насыщенность текста делают эту захватывающую документальную прозу настоящей находкой для многих любителей литературы non-fiction, пусть даже и далеких от медицины.

УДК 616.1-053.2

ББК 57.33

ISBN 978-5-17-982478-7

© Претр Р., 2016

© АСТ, 2016

## Содержание

Пролог	6
ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ	7
Становление хирурга	16
Изящество жеста	24
Капелька воды	32
Немного раньше...	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Рене Претр

## Там, где бьется сердце. Записки детского кардиохирурга

*Посвящается Камилле,  
Татьяне и Габриелле – моей личной гвардии.*

Оригинальное название:

Rene Pretre

*ET AU CENTRE BAT LE COEUR:*

*Chroniques d'un chirurgien cardiaque pediatrique*

*Перевод с французского*

*Е. Полякова, А. Остапенко*

© Arthaud (department of Flammarion), Paris, 2016;

Печатается с разрешения издательства Flammarion SA.

Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена никаким методом без предварительного письменного разрешения владельцев авторских прав.

## Пролог

Это было в начале двухтысячных. Мы только что прооперировали ребенка, едва успев перерезать пуповину – в самом буквальном смысле.

Ультразвук показал тревожные признаки болезни сердца. Мои коллеги-акушеры отправились делать кесарево сечение в кардио-логическую операционную. Ребенок едва успел увидеть яркий свет, едва почувствовал, как свежий воздух проникает в его легкие – и уже заснул у меня на операционном столе, чтобы мы могли починить его больное сердце.

Это было в Цюрихе. Я только что принял руководство отделением детской хирургии. Словно впервые, я изумлялся чудесам, которые моя профессия позволяла совершать, и то и дело кружилась голова от мысли, что в наших руках – целая жизнь. В тот день, все еще в эйфории от операции, я решил надиктовать эти удивительные истории. Чтобы однажды, может быть, поделиться ими. В ящике стола выстроился ряд дискет, но времени не хватало, и они покрылись пылью. Тогда я долго полагал, что они, словно обломки разбитых кораблей, которые нетрудно найти, но люди о них подзабыли, будут хранить свои сокровища вечно.

Но через десять лет, когда я и моя работа пару раз попали под объективы камер, несколько издателей вновь разожгли потухшее пламя и придали мне сил, чтобы поднять со дна эти кадры из жизни. Я достал их и перенес на бумагу. Тогда я осознал, до какой степени они вмешиваются в жизнь отдельных семей, и понял, что вторгаюсь в области, где должна сохраняться определенная конфиденциальность. На помощь мне пришли случай и удача. Получилось так, что некоторые истории, какими бы невероятными они ни были, дублировались, повторялись заново – как, например, когда меня вытащили с горного склона на вертолете, чтобы я смог сделать операцию по пересадке сердца. Итак, я решил немного запутать следы, отчасти по необходимости, отчасти из стыдливости, и изменил имена всех детей, а заодно поменяв местами их родителей, города или другие детали.

Потом были советы нескольких мудрых друзей. Они убедили меня рассказать заодно и о тех испытаниях, через которые нужно пройти, чтобы завоевать звание хирурга, с особым упором – они на этом настаивали – на мой собственный путь, хотя он и мало в чем отличался от других.

Итак, все эти истории, переплетенные с автобиографическими эпизодами, обрели жизнь – на магнитной ленте или, менее четко, лишь в памяти. И хотя я понимаю, что они весьма ненадежны, и готов признать, что ряд диалогов был выдуман, я твердо знаю – истории, которые рассказаны здесь, верно передают реальность и пережитые события.

И мои эмоции тоже.

## ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ

*Командор: Ах, на помощь! Ах, скорее! Я убит рукой злодея...*

*Кровь идёт, и я немею, гаснет жизнь в груди моей...*

*Дон Жуан: Он не ждал, вояка старый, ипаги меткого удара, и за смелую затею жизнью платит он своей.*

*«Дон Жуан», опера в двух действиях. Вольфганг Амадей Моцарт, 1756–1791; Лоренцо да Понте, 1749–1838.*

### Нью-Йорк, 1988–1990

*«Trauma team, trauma team, call 4344 stat, 4344 stat!»<sup>1</sup>.*

Категорический приказ, дважды прозвучавший из динамиков, расположенных на всех этажах и во всех уголках больницы «Бельвю», буквально спустил всех собак. Собаками были мы, дежурные молодые хирурги и интерны «травмы»<sup>2</sup>. Мы жаждали сильных ощущений, но, главное, были уверены в своих способностях и силах, и вот мы уже неслись по лестницам, бросив все дела, и со всех ног влетели в «блок травмы» – помещение, предназначенное для самых срочных случаев. Тон объявления, этот номер, который действовал на посвященных как удар тока, и слово «stat»<sup>3</sup>, которое шелкало, как удар бича, – все это каждый раз вызывало у нас один и тот же рефлекс, как у собаки Павлова: мы бросали стетоскопы, приложенные к груди пациентов, выскакивали из палат, разом заглывали остатки гамбургера – смотря где застал сигнал – и неслись в блок.

– Young man. Stabbed in the abdomen on 28-th Street. Blood pressure 120 over 60. Pulse 90 on the arrival. Remained stable during the transfer. One peripheral line. No known allergy<sup>4</sup>.

Произнеся ритуальные фразы, бригада скорой помощи забрала носилки и передала своего раненого, словно эстафетную палочку, нам – хирургической бригаде. Моя, в количестве трех ассистентов, уже забегала вокруг лежащего молодого человека в соответствии с отработанным протоколом, где каждый точно знает, что ему делать, и выполняет мои короткие приказы.

Теперь я увидел лицо раненого и поразился его бледности. На самом деле, стадия простой бледности уже осталась позади: кожа приобрела мертвенный оттенок с тусклыми серыми прожилками. Он дрожал – а ведь была еще осень, здесь в это время тепло. А главное – он был встревожен и испуган. Стуча зубами, он проговорил:

– I feel it, I am dying<sup>5</sup>.

Мне никогда не нравилось слышать от пациентов об этом ощущении неизбежной смерти – про такой симптом нам в институте не рассказывали. За несколько месяцев в «травме» я слишком хорошо понял, что некоторые из них оказались правы, чудовищно правы: смерть преспокойно забрала их вопреки нашим попыткам помешать ей. Может быть, ее холодная тень, окутывая их, вызывает эту тоску? Может быть, это чувствуется угасающая жизнь? Ощущение,

---

<sup>1</sup> Бригада травматологов, повторяю, бригада травматологов, срочно подойдите в блок 4344, срочно в блок 4344! – Прим. пер.

<sup>2</sup> «Травмой» мы сокращенно называем бригаду травматологов. – Прим. авт.

<sup>3</sup> От латинского слова «statim», означающего «срочно», «немедленно». – Прим. авт.

<sup>4</sup> Молодой мужчина. Ножевое ранение в брюшную полость на 28-й улице. Артериальное давление 120 на 60. Пульс на момент поступления 90. При транспортировке состояние было стабильным. Один периферийный венозный катетер. Данных об аллергии нет. – Прим. авт.

<sup>5</sup> Я умираю, я знаю это. – Прим. авт.

которое ученые никогда по-настоящему не описывали, но некоторые, возможно, чувствуют его, погружаясь в последнюю сумеречную зыбь, за которой сознание растворится навсегда.

В Нью-Йорке я оказался по совету Адриена Ронера. «Господин Ронер», как все его звали, заведовал хирургическим отделением университетской больницы в Женеве. Он был воплощением типажа большого начальника, его врожденная харизма и благородство создавали вокруг него естественный ореол власти. На работу меня принял именно он и через несколько недель вызвал к себе:

– Претр, каковы ваши цели в хирургии?

– Я бы хотел получить хорошую подготовку, чтобы поступить на работу в больницу в моем регионе, в Поррантрюи. Через несколько лет там будет вакансия.

Он с недовольным видом прислонился к спинке кресла. Нахмурился, немного подумал и через несколько секунд продолжил:

– Нет, нет. Вам определенно нужно делать университетскую карьеру. У вас есть американский диплом?

– Нет.

– Жаль, потому что я бы с удовольствием отправил вас туда. Их можно критиковать, но нужно признать, что сегодня именно у них дела в нашей области продвигаются лучше всего. Америка остается центром притяжения мировой медицины.

Я до сих пор вижу как наяву, как он говорил, постукивая карандашом по руке и глядя скорее внутрь себя, чем на меня:

– У меня там есть несколько хороших контактов, и со своей стороны я посмотрю, каким образом факультет мог бы вас поддержать. Но вам нужен этот диплом.

Этот разговор и в особенности слова «университетская карьера» и «центр притяжения» несколько дней звучали эхом в моей голове. Я закинул пробный мяч – отправил заявку на работу в несколько университетов в США, в том числе и в нью-йоркский. Там недавно появилось несколько позиций для иностранных врачей в хирургическом отделении, и мою заявку приняли, хотя с непременным условием – получить этот пресловутый диплом.

Я только-только поступил в отделение ортопедии – приятная работа, больше зависящая от отточенных навыков, чем от тонких интриг. И пациенты часто моложе и крепче, чем в других отделениях, не считая того, что перелом меньше повреждает организм, чем гнойный перитонит или инфаркт миокарда. И когда уходишь с работы, почти не остается нерешенных проблем, способных испортить вечер. И вот каждый вечер, вправив несколько сломанных лодыжек или заменив сломанную головку и шейку бедра, мне пришлось тянуть эту нудную ляжку – освежать базовые знания по медицине.

Я сдал их треклятый экзамен.

Теперь я мог отправляться в Нью-Йорк со стетоскопом на шее.

Мы взяли за ножницы и освободили нового пациента от одежды: куртка, рубашка, брюки разрезаны сверху вниз и отброшены, как снятый панцирь лангуста. Открытая рана притягивала взгляд – справа под ребрами, подчеркнутая тонкой струйкой крови. Мы перевернули пациента – еще одна рана, поменьше, на пояснице. Вопрос вырвался сам собой:

– Вас только два раза ударили ножом?

– Нет, не два, один. Только один! Меня ударили ножом только один раз!

Мгновение я смотрел на него, сначала с недоверием, а потом до меня дошло. Нож прошел через брюшную полость насквозь и вышел сзади. Сквозное ранение! Одно из тех, которые обязательно повреждают внутренние органы и вызывают кровотечение. Драматизм ситуации резко возрос, потому что под ударом печень – настоящая губка для крови. Подтверждать и уточнять диагноз стало некогда. Нужно было нестись в операционный блок, чтобы остановить кровотечение, которое, несомненно, втайне усиливается, и так с самого момента нападения. Песок из часов жизни этого парня утекал на глазах, как и его кровь. Времени на то, чтобы остановить этот процесс, почти не оставалось.

– *Bloody hell*<sup>6</sup>! Предупредите их там, мы идем!

Наркоз, интубация, переливание. Носилки разблокированы, незнакомец, еще без имени и без возраста, отправлен в операционную. Наша процессия ринулась в коридор, снося препятствия, расталкивая все на своем пути, и наконец остановилась в операционной. Грудь и живот парня обработаны дезинфицирующим раствором, вокруг порхали стерильные простыни, обрамляя широкий прямоугольник операционного поля.

Разрез скальпелем: кожа раскрылась по всей длине брюшной полости. Кровотечения почти нет! Еще остававшаяся в теле кровь ушла из периферических тканей в жизненно важные органы. Мышечный слой рассечен, осталась только брюшина – тонкая мембрана, окутывающая внутренности. Она раздулась под давлением крови. На поверхности все казалось спокойным, но внутри угадывалось бурное клочкотание. Не раз это ложное спокойствие напоминало мне атаки акул, вырывающихся из морских глубин на поверхность спокойных вод. В памяти порой возникали кадры из фильма «Челюсти». Я взглянул на анестезиологов...

– Ребята, готовы? Или надо еще крови влить?

– Нет, мы готовы. Есть еще резерв.

...а потом на моих ассистентов и операционную сестру:

– О'кей, вы тоже? Тогда – вперед, на штурм!

Этот город, а потом и эта работа захватили меня целиком. Сначала – лихорадочный темп жизни. Все было шумным, быстрым, мерцающим. Непрерывный фоновый шум, где задавал такт вой сирен, а сирены подчеркивали диссонанс какого-то мычания, которое всякий раз заставляло меня вздрагивать. Я помню, как услышал в первый день эту какофонию от колонны полицейских мотоциклов, за которыми следовала машина скорой помощи – режут сирены, по улицам хлещут лучи проблесковых маячков, и все это несется к больнице «Бельвю»... как раз туда, где мне предстояло работать. Я замер на тротуаре в растерянности, эта процессия одновременно впечатлила меня и внушила робость. И в мозгу медленно проступила неотвязная мысль: «А ведь через несколько дней уже я буду встречать их в приемном покое». И тогда меня охватила легкая тревога – а вдруг я окажусь не на высоте? – но к ней прибавлялась не меньшая гордость – ведь я окажусь в центре событий.

Потом – гигантские размеры. Все казалось увеличенным, вытянутым, приумноженным. Поступив на работу в университет Нью-Йорка, я работал поочередно в каждой из трех больниц на Первой авеню: Нью-йоркском университетском медицинском центре, больнице «Бельвю» и госпитале Ветеранов Администрации. Все вместе они занимали больше километра и образовывали гигантский больничный центр, намного масштабнее всех, что я когда-либо видел.

---

<sup>6</sup> Ах ты ж черт! – Прим. пер.

И, наконец, харизма. Ощущение насыщенной жизни в самом центре притяжения вещей. Пьянящая вибрация, охватывающая тебя, пока ты идешь по улице – и охватившая меня в больнице «Бельвю».

Из трех больниц я предпочитал именно ее – из-за контингента, свободы, которую она давала, и ее ауры. Идти работать «в Бельвю», как мы ее звали с фамильярностью старых служак, значило отправиться воевать в мире, полном оригинальности и эксцентричности. Что до цвета этой больницы, отделения неотложной помощи, его обитатели именовались «фауной» или «джунглями». Там происходили всевозможные удивительные истории, фантастические ситуации, перипетии, достойные Гомера, порой на грани правдоподобия. В этих стенах ходила хвастливая поговорка: «Чего не видели в «Бельвю» – того, наверное, и вовсе на свете нет».

Сначала мне это показалось преувеличением.

Только сначала.

Приоткрытыми ножницами я решительно вскрыл брюшину сверху вниз, вслепую, потому что, стоило сделать надрез, из живота вырвался фонтан крови, заливший все вокруг. Точно как в фильме «Челюсти»! Мои руки погрузились в этот взбесившийся живот. Казалось, извергается вулкан – выход наружу сдерживаемого давления и вмешательство наших рук вызвали потоки крови, которая теперь хлестала отовсюду. Два отсоса, работавших на максимальной мощности, позволили пробраться среди внутренних органов к бурлящим источникам кровотечения. В чем преимущество ран, нанесенных холодным оружием – относительно легко определить раневые каналы и, соответственно, поврежденные органы. В данном случае путь не вызывал никаких сомнений – печень пробита и обильно кровоточит. Мои пальцы нащупали печеночную связку там, где проходят печеночная артерия и воротная вена – ее притоки крови. Туда быстро встал сосудистый зажим<sup>7</sup>, чтобы остановить кровотечение... Теперь мы вместе с первым ассистентом сжимали руками весь орган вокруг раны, чтобы прекратить ретроградное кровотечение из печеночных вен.

Я взглянул на анестезиологов.

– Как там у вас дела? У нас все более-менее под контролем.

– Дайте нам немного времени, очень сильно упало давление.

Теперь, когда кровотечение было временно остановлено, задача критической важности стояла на их стороне. Им предстояло решительными действиями восполнить потери, нагнать наше опоздание и нехватку ресурсов. Сразу в несколько вен вливаются целые флаконы крови, чтобы восполнить потерю.

Я ожидал этого временного ухудшения. Вскрытие брюшной полости, устраняющее последнюю преграду, неизбежно должно было вызвать сильное кровотечение. Прямое вмешательство в рану, которую мы пока что сжимали руками, снова освободит поврежденные сосуды и возобновит ток крови. Мы маневрировали слишком близко от края пропасти, чтобы начинать работу по прижиганию и сращиванию. Сначала нужно наполнить почти пустые сосуды, восстановить резервы. Отойти от критической точки.

Я взглянул на монитор.

Давление стало расти.

– Так вот она какая, эта самая «Бельвю»!

Едва оказавшись на Манхеттене, я отправился на разведку к ее стенам.

Эта больница принадлежала городу, и потому – как открытая для всех – принимала много бедных и бездомных. А еще она была частью

---

<sup>7</sup> Металлический зажим с затупленными краями, который помещают на сосуд, чтобы перекрыть его. – *Прим. авт.*

наследия Большого Яблока. Благодаря историям из жизни, которые часто пересказывали весьма цветисто, и несколькими ярким «дворянским грамотам». Здесь поныне гордились созданием первой в Соединенных Штатах службы скорой помощи – это произошло еще во время Войны за независимость. Но для нас здесь было еще одно исключительное достоинство, которое было даже более притягательным: больница принадлежала к «trauma level one»<sup>8</sup> Нью-Йорка, одним из центров, которые специализируются на неотложной помощи и оборудованы соответственно.

Переступив порог больницы, я сперва подумал, что заблудился в полицейском участке. Количество «копов» в приемном покое поражало: часто именно они отправлялись за ранеными в беспокойные кварталы и привозили их – бледных, истекающих кровью – к нам. Другие вели расследования. Криминал, рассеянный по столице, собирался в определенных точках, неизбежных остановках своих жертв, и это были центры скорой помощи, в том числе и наш! Поэтому полицейские чувствовали здесь себя как дома: они непринужденно бродили по коридорам, расстегнув куртки и открыв взгляду револьверы в кобуре.

Слева находился «блок», наше поле битвы, большое помещение для тяжелораненых, а справа – скорая помощь скорее медицинского характера, для всевозможных сепсисов, инфарктов миокарда, сильных приступов астмы, и малая травматология, когда раны были не слишком серьезными. Там я зашивал поверхностные ножевые ранения. В том числе и на лице. Я всегда старался, чтобы шов – в данном случае, ножевой шрам – получился аккуратным, делая ровные стежки на одинаковом расстоянии. «Копы», надевавшие на этих упрямыц наручники и ждавшие последнего узелка чтобы увести их на допрос, иногда говорили мне: «Если мне однажды придется накладывать швы, я хочу, чтобы это сделали вы!»

– Порядок, ваш выход. Давление снова в норме.

Мы распластали раневой канал с помощью методики, разработанной в больнице «Бельвию». Да, еще одно местное изобретение! Что довольно логично, учитывая, с чем здесь приходится иметь дело. После целого часа работы кровь уже не течет из определенного места, а рассеянно сочится, потому что коагулировать уже не может. Ее тромбоциты и факторы свертывания были истрачены в отчаянном усилии организма, пытавшегося обуздать кровотечение. Мы решились на так называемый racking<sup>9</sup>, то есть продолжительную компрессию всех кровоточащих поверхностей с помощью стерильных простыней. За несколько часов тело восстанавливает факторы свертывания и само закончит работу. Мы пришили герметичную мембрану к краям разреза, чтобы закрыть внутренности. Завтра сочащаяся кровь остановится. Мы сможем снять компресс и окончательно зашить живот.

Было пять утра. Напряжение в операционной спало, так как развязка битвы, судя по всему, уже близилась. Противостояние с судьбой неизбежно должно было повернуть в нашу пользу, даже если смерть еще и не совсем сдалась. Действительно, только если организм, подвергшийся серьезной встряске, сможет восстановить коагуляцию и устоит перед всяческими инфекциями, мы выиграем сражение. И все же мы были спокойны. Наш пациент молод, а в этом возрасте восстановительные способности организма творят чудеса.

---

<sup>8</sup> «травматология первого уровня». – Прим. пер.

<sup>9</sup> «упаковка». – Прим. пер.

Уезжая из Женевы, я уже имел некоторый опыт неотложной помощи, но очень небольшой в том, что касалось ножевых и огнестрельных ранений: там мне попадалось больше нападений газонокосилок, чем ударов ножом или выстрелов. А с ними все происходит быстрее и драматичнее. Итак, после самого города мне вцепилась в горло неотложная помощь. В иные сумасшедшие ночи мне казалось, что меня бросили в реку, вышедшую из берегов, а я всего несколько дней как принялся проворно усваивать плавательные движения. Ну и нахлебался же я! Я барахтался в этих беспокойных водах, сначала чтобы удержаться на воде, а потом постепенно начать выплывать и, наконец, оптимально распределив запас энергии, добиться некоторой эффективности.

Так я научился применять к травме стратегию шахматиста. Тактически наши ходы напоминали игру гроссмейстеров. Совсем немного ученых размышлений над первыми ходами партии, зато правильные рефлексы. Они нужны в тот момент, когда для спасения жизни счет идет на минуты, а иногда даже на секунды. В этих поединках матч начинала судьба, она делала ход белыми, а мы должны были им противостоять. Лучшие защиты были известны, и их нужно было применить незамедлительно, не отклоняясь от идеальной схемы, иначе положение стремительно станет необратимым. Когда пациент готов к операции, диагноз установлен и зажимы поставлены на разорванные сосуды, начиналась центральная часть партии. Постоянный панорамный обзор всей шахматной доски. Рефлекс уступали место рефлексии – сочетанию опыта, знания и рассуждения. Выстроить приоритеты, переходить от повреждения, взятого под контроль, к тому, которым еще не занимались, быстро применять восстанавливающие техники, не отвлекаться на детали, отнимающие много времени, – все это позволяло отвоевать потерянное в битве, часто ведущейся на нескольких фронтах.

– *Closure time*<sup>10</sup>!

Это восклицание раздавалось как приказ. Тут же включался магнитофон. В нем уже несколько недель томилась в заключении кассета, которую записал Марк – один из моих коллег, увлекавшийся «Гринвич Виллидж». Такова была традиция – в этот момент операции, при отходе наших войск, включался рок-н-ролл. Он задавал ритм всем нашим швам. Иной раз за это время большая стрелка часов успевала пройти полный круг – ведь рассечения грудной клетки, брюшной полости или ранения конечностей приходилось зашивать на нескольких уровнях. За это брались вдвоем или даже втроем, чтобы не терять времени. Мы занимались шитьем на скорость, и бедная операционная сестра, которая ассистировала одновременно трем хирургам, начинала косить в разные стороны, как жонглеры, которым приходится следить за всеми шариками сразу.

Из магнитофона неслась «*She drives me crazy*»<sup>11</sup> группы «Файн Янг Каннибалз». Тонус этой песни давал нам сил держать темп. Мы были обессилены – хронически. Усталость копилась слой за слоем, по мере того как друг за другом следовали бессонные или почти бессонные ночи. И нас, хирургов, еще не так жестоко одолевал сон, как наших ассистентов. Стресс, ответственность, активная работа рук и мозга выжимали их наших надпочечников и вливали в кровь адреналин, который поддерживал наши силы и помогал бодрствовать. Закалял нас.

Мы насвистывали под нос. «*You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you*»<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Зашиваем! – Прим. пер.

<sup>11</sup> Она сводит меня с ума. – Прим. пер.

<sup>12</sup> Ты слишком хороша, чтобы быть настоящей. Не могу отвести от тебя взгляд. – Прим. пер.

Мы негромко напевали.

Нашим первым и опасным врагом было обескровливание – потеря тех пяти литров крови, которые поддерживают в теле жизнь – и противостояние этому обратному отсчету, порой просто дьявольскому, который мы должны были остановить. Песочные часы жизни пострадавших перевернулись в момент их ранения, еще до того, как мы вступили в игру. Если кровь текла медленно и не слишком истощила резервы, с ситуацией было легко справиться. Напротив, если она быстро уходила, и песок в часах почти закончился уже при поступлении пациента... тогда жизнь – почти всегда молодая – ускользала от нас.

Вторым противником, коварным, засевшим в засаде, была инфекция. Этот враг обожал изнуренные, ослабленные и обескровленные организмы. Распоротые кишки, пробитое легкое, открытый перелом конечности широко распахивали двери для вторжения бактерий и вызывали самые грозные сепсисы. Чем быстрее заделывались эти прорывы, тем меньше был риск, что вторая атака уничтожит выжившего после первой. Здесь от скорости нашей работы тоже зависел успех.

Так часы в забое научили меня воздвигать две основные опоры, необходимые для подготовки хирурга: технику и стратегию. Их достаточно для хирургической резекции или протезирования. Позже мне станет известна третья опора, которая важна в специализациях, направленных на исправление врожденных пороков. Это творческая часть. Владение пространством, третьим измерением. Контроль над изгибами, формами, объемами. Восстановление гармонии. Мастерство скульптора.

Мы пели.

Это были волшебные моменты, когда победа оставалась за нами, особенно если она была достигнута в трудной борьбе. Заразительная эйфория, состоящая из гордости и ощущения, что нам дана определенная власть, охватывала всех. Иногда мы пели в полный голос. Та же подборка, неделя за неделей. А если магнитофон заест? Мы бы допели все песнопения до конца, даже не заметив остановки!

И сегодня рано утром мы, конечно, пели. Природа, наш верный союзник, не оставит нас, мы в этом уверены, и наш пациент выживет. Это радость красивых побед. И неопишное ощущение, что на этот раз мы оказались сильнее или, во всяком случае, хитрее, чем дама с косой. Чувство завершенности и гордости – этой ночью мы были особенно хороши.

Дома «Бельвю» тоже заняла исключительное место, прославив одновременно чем-то нежным и чем-то ужасным. Мне всегда было смешно, когда моя старшая дочка Камилла сердилась на сестру и припечатывала с высоты своих четырех лет: «Татьяна, будешь так себя вести – попадешь в «Бельвю»!» Мало что понимая, она внимательно слушала рассказы о наших подвигах, и «Бельвю» представлялась ей, конечно, местом героизма и чудес, но еще и адом – местом проклятий и гибели.

Действительно, контингент больницы, особенно ночью, приоткрывал дьявольскую сторону теневых сторон Нью-Йорка. В службе скорой помощи перед нашими глазами проходил срез совершенно особой грани Большого Яблока, известной своей эксцентричностью.

«В «Бельвю» не видели... и вовсе нет».

В то время – в начале девяностых – над городом нависало чувство опасности. «Крэк», это ползучее бедствие, опустошал целые кварталы и

распространялся со свирепством средневековых эпидемий. Нам этот наркотик поставлял огромное количество жертв, пострадавших от насилия, которое он порождал. Нью-Йорк стал одной из мировых столиц преступности – особенность, которую он выставлял напоказ со смесью гордыни и обреченности. Эта метрополия не без гордости поддерживала в себе парадоксальное сочетание модернизма и декаданса – и в нашем блоке это было заметнее всего.

Мы вернулись в раздевалку, сорвали пропитанные кровью халаты, побросали их комом в большие баки и надели чистые. Немного посидели на скамейке, пошутили, посмеялись. Атмосфера футбольной раздевалки. Вскоре нужно будет спуститься в блок, разобраться с накопившимися вызовами, затем вернуться к делам, которые прервали громкоговорители, и, наконец, навести порядок на этажах. Меньше чем через час состоится визит руководства. Уж они ничего не захотят слышать о беспокойной ночи. Они перешагнут порог нашей берлоги в положенный час, сочтут нашу последнюю операцию совершенно обыденным делом и будут ожидать, что им предъявят начищенное до блеска отделение.

И все же, если выйти за пределы скорой помощи, город оказывался пьянящим, таким огромным, таким живым, что ему удавалось убедить меня: я в центре мироздания. Это убеждение поддерживал его магнетизм и что-то вроде пульса – едва уловимого, но постоянного и ощутимого. Я любил подниматься на крышу небоскреба Эмпайр-стэйт-билдинг, который был совсем рядом, дышать воздухом над этими зданиями и пытаться постичь безмерность его архитектуры. Лучшим моментом для этого было наступление темноты, когда сумерки подчеркивали контрастность его красок. Меня впечатлял северо-восточный угол, там, где Бронкс. Ведь я знал, что там прямо сейчас царят крайние меры, решительные злодеяния, окончательный переход от замыслов к делу. В то время Южный Бронкс слыл местом насилия, разрухи и запустения. Как потрескивает воздух над пустыней, так и над его улицами, казалось, подрагивала тоненькая дымка – там тоже было слишком горячо. Я смотрел в ту сторону и думал: «Вот прямо сейчас в этом самом Бронксе что-то происходит».

Еще мы любили прогуливаться вокруг Сент-Маркс Плейс – туда было удобно ходить с Татьяной в коляске. Это место, еще не утратившее богемности, источало кипучую атмосферу. В воздухе плыли последние отголоски андеграунда шестидесятых, тени Энди Уорхола и Джимми Хендрикса. Яркие наряды, граффити, латиноамериканские мелодии. А еще – одурманивающие запахи, дилеры и угрожающее поблескивание ножей по мере того, как мы подходили к Алфавет-сити. Мы избегали этих улиц, где уже не было фонарей – верный знак, что здесь действуют другие правила и законы. Что здесь другое командование.

Конец обхода. От руководства поступило только несколько неприятных замечаний насчет повязок, которые вчера вечером не заменили. Затем они слегка утомленным взглядом окинули нашего пациента, еще «совсем тепленького», со стянутым животом. Отсутствие критики с их стороны мы сочли за комплимент.

Мы пошли немного выдохнуть в кафе недалеко от Первой Авеню. Большое Яблоко еще сверкало огнями, его улицы уже гудели, ругались таксисты, то и дело взрывывали сирены. Теперь я закалился шумом улицы и сиренами скорой помощи, меня больше не задевали ни акустические атаки, ни сомнения новичка. Я стал безразличен к их воплям, как кузнецы поневоле становятся глухи к ударам своего молота по наковальне.

Начинался новый день. Наш утренний пациент сейчас, должно быть, спал. Мы еще займемся им – без спешки.

Два года спустя я вернулся к себе в университет и в женеvскую больницу. Да, я предпочел их предложение – обучение на кардиохирурга – похожему варианту из Нового Света. Тяжелый выбор, достойный трагедии Корнеля, так как я знал – мое решение окончательно пришьит мою семью к одной точке на карте. Каким бы чарующим ни было это Большое Яблоко, постоянно создававшее для меня декорации боевика, где я был актером, наполнявшее меня ощущением, что в любой момент может случиться нечто необычайное, – «в «Бельвю» не видели... и вовсе нет» – оно не заставило меня забыть об очаровании старой доброй Европы. Ни меня, ни моих близких. Я достаточно вкусил чар «города, который никогда не спит», чтобы во мне надолго остался его отпечаток. Тот отпечаток, который и поныне, после стольких лет, напоминает, что я был частичкой его истории, той, которая и поныне, после стольких лет, вызывает у меня такие живые и трогательные воспоминания.

Вот как недавно, когда я слушал оперу Моцарта «Дон Жуан» в Поррантрюи – городке, где я учился в лицее. Постановка в старой церкви была грандиозной, певцы исполняли свои роли очень убедительно. Вскоре дело дошло до дуэли коварного соблазнителя и доблестного Командора. Они скрестили шпаги, и Дон Жуан пронзил живот своего соперника. Тот рухнул, и оба запели ту арию, где Командор в агонии, теряя кровь и силы, чувствует, как его душа покидает тело. И тут – вспышка из прошлого! Слова «Я чувствую, что умираю» моего раненого из «Бельвю». Он тоже чувствовал, как жизнь покидает его, как им овладевает смерть. В голове на ускоренной перемотке замелькали кадры, как мы его спасали. Та шахматная партия с классическим дебютом, пустеющие песочные часы и наши умелые действия, чтобы не дать им опустеть совсем. Несмотря на драму на сцене и на смятение актеров, на моих губах возникла легкая улыбка. Я не мог не думать с некоторой лихостью: «Эх, жаль, что там не было «Бельвю». Мы бы этого Командора вытащили!».

## Становление хирурга

*I knew then, as I know now,  
that after every operation I performed,  
every decision I made,  
every crisis I met,  
I would be a bit more  
of a surgeon than I had been.  
«The making of a Surgeon»<sup>13</sup>*

*Уильям А. Нолен (1928–1986).*

**Нью-Йорк, Женева,  
1988–1996**

Я обернулся к Изабель, дежурному анестезиологу. Как я и ожидал, ее глаза выражали легкий скепсис. Чтобы отвлечь ее и не дать усилиться этому чувству, я сказал ей скорее утвердительно, чем вопросительно:

– Иза, ты же сможешь его удержать, пока я буду шить?

– Сложно сказать, Рене, реально уже предел. Тебе еще долго?

В ее глазах появилось беспокойство, которое меня как раз ненадолго оставило: хотя я был еще только практикантом, до сих пор все мои операции проходили успешно, и хорошие результаты приумножили мою уверенность.

– Двенадцать минут, ну самое большее пятнадцать.

Я хотел быть оптимистом.

– Если не дольше, то, пожалуй, получится. Но больше у тебя не будет ни секунды. Здесь ты работаешь без страховки.

– Я знаю, Иза, но если мы все сосредоточимся и будем действовать эффективно, должно получиться.

Несколько минут назад я поставил зажим на артерию левого легкого, заблокировав поток крови и направив ее всю в правое. Ребенок переносил это хорошо: количество кислорода, циркулирующего в крови, не снижалось, оставаясь стабильным. Сигналы нашего пульсоксиметра – аппарата, который крепится к подушечке пальца и измеряет уровень кислорода в крови – не меняли своей тональности и не становились ниже, как это бывает, когда уровень падает. Операция без помощи аппарата искусственного кровообращения – без внешней оксигенации крови – казалась выполнимой.

Ребенка привезли из Африки. Он страдал тяжелой формой тетрады Фалло – знаменитой «синей болезни». Он действительно был сумеречно-синего цвета и едва приехал, как сорвался в критическое состояние, вызывающее крайнее беспокойство. Его состояние дестабилизировалось из-за долгого путешествия и неумолимо приближалось к фатальной асфиксии. Чтобы противостоять этой угрозе, нужно было срочно поставить шунт – тогда через несколько недель можно будет провести полноценную операцию.

О, эта тетрада Фалло, классика из классики!

Это заболевание, описанное в 1888 году в Марселе Артуром Фалло, – само воплощение «синей болезни», как ее называли из-за внешнего вида

---

<sup>13</sup> «И тогда я понял, как понимаю сейчас, что после каждой операции, каждого решения, каждого пережитого кризиса я стану в большей степени хирургом, чем раньше». «Становление хирурга». – Прим. авт.

больных детей: их кожные покровы, ногти и слизистые отражают сине-фиолетовый цвет крови.

Кровь имеет прекрасное свойство менять свою окраску в зависимости от уровня кислорода. Цветовой спектр распределяется от карминово-красного, когда кровь на выходе из легких полностью насыщена кислородом, до густо-синего, по мере того как молекулы кислорода покидают ее. Так, именно артериальная кровь придает розовый оттенок нашей коже, губам, подушечкам пальцев. Если с ней смешивается венозная кровь, к ней примешиваются синеватые оттенки, делают ее темнее и меняют цвет тканей, через которые она проходит.

При тетраде Фалло легочная артерия, которая соединяет сердце и легкие, слабо развита. Синяя венозная кровь, не найдя нужного выхода в направлении легких, проходит через межжелудочковую перегородку непосредственно в другую половину сердца. Там она смешивается с небольшим количеством красной крови, насыщенной кислородом, прошедшей через легкие, и эта смесь вбрасывается в организм. Чем сильнее сжат узкий проход к легким, тем интенсивнее сине-фиолетовый цвет кожных покровов, тем сильнее цианоз.

Без лечения некоторые из этих детей умирают уже через несколько дней после рождения, когда артериальный канал (опосредованный источник крови для легких) закрывается. Другие погибают в раннем детстве, иногда в подростковом возрасте, и очень немногие из них становятся взрослыми. Словно язычок пламени под стеклом, их жизнь словно задыхается. Она никогда не сияет ярко, не горит прямо и сильно, а однажды начинает дрожать – и затухает.

Эта жестокая участь детей – смерть на медленном огне – заставила врачей искать решения, даже самые немислимые. Элен Тауссиг и Альфреду Блелоку из больницы Джона Хопкинса в США, штат Балтимор, пришла мысль создать дополнительный источник крови для слабо орошаемых легких у детей со слишком темным синим цветом кожи. С технической стороны – Блелок перебросил артерию, предназначенную для кровоснабжения левой руки, к легочной артерии, анатомически находящейся близко, чтобы кровь из нее шла не в руку, а в легкие.

Результат был поразительным. Получив дополнительный приток крови, ребенок на глазах у хирурга стал меняться, сменив цвет с темно-синего на розовый. Все закричали, что случилось чудо, заговорили о выходе из тьмы на свет, и эту знаменательную дату – 29 ноября 1944 года – назвали точкой старта кардиохирургии. Этот переброс артерии получил название «шунт». Он распространился по всему миру и надолго стал спасительным лечением «синей болезни».

Я снял зажим, чтобы кровь снова могла циркулировать в каждом легком, а я получил бы время еще раз обдумать варианты. Обращение к внешней оксигенации артериальной крови было бы, конечно, надежнее, но ценой серьезного вмешательства в организм и значительного осложнения нашей операции. Установка шунта без такой поддержки будет легким, едва заметным вмешательством.

При таких сильных асфиксиях успех операции зависит от быстроты ее исполнения. Так что я воспользовался моментом, чтобы повторить основные шаги с моими ассистентами Ари и Ирен и с операционной сестрой Жослин. Работа всей бригады должна быть скоординиро-

ванной и плавной. Я хотел, чтобы основное движение, эта широкая волна, шло со спокойной силой, без перебоев и в хорошем ритме.

Каждый освежил в памяти свои действия, и я почувствовал уверенность в своем решении: мы уложимся в отведенное время. Я снова повернулся к Изабель:

– Медикаменты готовы?

Она кивнула без особого воодушевления. Я еще раз посмотрел на две пока еще нетронутые артерии, набрал полную грудь воздуха и стал распоряжаться:

– Так, у нас тоже порядок? Нитки, инструменты готовы? Да? Тогда начали!

Именно в таких четких решениях и действиях в самом сердце проблемы и кроется сила хирургии. Именно схватка с болезнью, а то и с судьбой, всегда завораживала меня и определила мой путь с самого начала, когда я еще мало что знал об извилистых путях медицины.

Конечно же, у нас был семейный врач, но мы не часто его видели, и я никогда по-настоящему с ним не разговаривал. На самом деле, основным медицинским консультантом в нашем доме был ветеринар. Надо признать, что он совершал достопамятные подвиги непосредственно на ферме и подручными средствами. Я до сих пор помню, как в детстве наблюдал недоверчивым от изумления взглядом, как он делал, под местной анестезией, кесарево сечение молодой корове, кое-как привязанной к водосточной трубе, а та стояла на месте с невероятным терпением. Разрезав кожу, затем матку, «наш акушер» непринужденнейшим движением извлек телят, высвободил плаценту и зашил все необходимые ткани. Помню его сапожные иголки с огромным ушком и нитки, скрутившиеся жесткими кольцами. «Кетгут! Кошачьи кишки!» – радостно провозглашал он, показывая на них. И добавлял, накладывая швы:

– Коровы все выдержат. Хоть плюньте в рану, они даже не заразятся. А вот лошади – совсем другое дело! До того хрупкие! Стоит только посмотреть на разрез, как вы занесете инфекцию!

Но не этот красочный эпизод убедил меня в фантастических возможностях хирургии. Моя решающая встреча с медициной на местах произошла в начале моей учебы во время фельдшерской практики.

Я снова зажал легочную артерию и артерию левой руки. Несколько секунд ожидания: сигнал пульсоксиметра не изменился. Первая артерия раскрывается скальпелем на пять миллиметров, рассечение, переброс второй в разрез. Начало шва, тонкой и гладкой нитью. Ари подхватывал нить, как только игла проходила сквозь ткани, чтобы затянуть шов через край. Все идет ритмично, гладко и ровно.

И вдруг, хотя мы не сделали ничего неуместного или слишком резкого, пульсоксиметр принялся стонать. Частота сигналов замедлилась, звук стал тише, словно он терял силы. Уровень кислорода в крови, и так совсем низкий, еще упал, и сердце, задышавшееся все сильнее, начинало сдавать. Это его стоны передавал нам прибор, стоны мотора, глохнувшего от невероятных усилий. Изабель ввела адреналин, чтобы поднять кровяное давление и разорвать порочный круг, который вот-вот замкнется. В ее голосе звучала тревога:

– Рене, я скоро уже не смогу его удержать. Быстрее, скоро будет остановка.

Меня направили в отделение хронических больных. Это шло слегка вразрез с моими идеализированными представлениями о медицине, и тогда я констатировал, что эта наука скорее ухаживает за больными, чем лечит их. В двадцать лет такой вывод об относительном бессилии медицины меня немного разочаровал, тем более что он вступал в резкое противоречие с ковбойскими

подвигами нашего ветеринара. В конце практики я спросил главного хирурга, можно ли присутствовать на одной из его операций. Он согласился, и я впервые пересек порог операционной.

Я сразу же почувствовал в некотором роде сакральный характер этого святилища, закрытого для внешнего мира. Нужно было пройти через тамбур, чтобы проникнуть в эту тайную пещеру, переодеться, переобуться, надеть шапочку и маску. Облик людей полностью менялся, приобретая что-то клановое, как в одежде, так и в их миссии. В тот день я присутствовал на первой моей операции: удалении аппендицита. С самого начала меня поразила холодная решимость хирурга. Безо всяких преамбул он направился прямо к цели, одним движением скальпеля сделал четкий и глубокий разрез и все тем же острым лезвием высвободил виновный орган. Властным решением он был извлечен из тела. Затем хирург зашил оставшийся обрубок кетгутом – наименование этой нити, связанное со столь героическими воспоминаниями, заставило мои мысли вернуться на десять лет назад.

На следующий день подросток заявил, что поправился: лихорадка, боль в животе, рвота – все прошло! Казалось, их извлекли так же решительно и естественно, как аппендикс. Юноша вернулся целым и невредимым к своей прежней жизни.

Могущество хирургии, которая вступала в рукопашную схватку с болезнью, резала по живому, извлекала без церемоний провинившуюся часть, чтобы действительно вылечить, а не просто ухаживать, было потрясающим. А в образе великого волшебника-хирурга, свободном от границ, обходящем любые основополагающие правила таким вторжением в живое тело, было что-то завораживающее.

Мне оставалось три стежка, чтобы замкнуть шов, и по-хорошему еще надо было завязать узел, прежде чем снимать зажимы. Я еще прибавил темп. Я прекрасно видел и еще лучше слышал, что эта жизнь уходит. Цвет тканей был таким темным, что кислорода в них, похоже, не было почти совсем. Сигналы прибора, такие редкие, такой зловещей тональности, заставляли нас остро переживать последние удары сердца. Мы чувствовали его неизбежную остановку...

Колдовство владело мной несколько дней.

Потом, я же видел, как практикующий врач работает руками. Я видел, как его ловкие пальцы обходят любые западни, чтобы достичь своей цели. Я был родом из мира, где все еще преобладал ручной труд. Я видел в движениях оперирующего хирурга определенную хореографию, конечно, более изящную, чем у нас, но по сути довольно похожую.

Этот опыт стал откровением: я открыл для себя полезную профессию, которая меняла ход вещей и где ловкость рук играла основную роль.

После этого удаления аппендицита я не просто укрепился в своем отчасти случайном решении изучать медицину, а приобрел уверенность, что мой путь – именно хирургия.

Я протянул нитку от последнего шва Ари. И сразу же, даже не завязывая, отпустил зажимы на легочной и подключичной артериях. Наконец в легкое проникает кровь – дополнительная кровь, благодаря шунту. Двухсекундная задержка – зловещая тишина – прежде чем пульсоксиметр издал новый звук, совершенно похоронной тональности. Я уже готовился начать массаж сердца, но тут раздался второй сигнал, затем третий – тоже глухие и неуверенные. Затем четвертый, пятый, быстрее и выше. Тональность поднималась. Наконец-то! Вместе с ней – сила и частота сигналов. Еще несколько секунд, и теперь сердечный ритм окончательно

пошел по нарастающей. Под действием адреналина сердце заработало даже с перегрузкой, тональность ушла в верхние частоты, по мере того, как кислород насыщал кровь и сердце вновь обретало силу. И вместе с тем ткани, такие темные и тусклые, приобрели цвет, отсветы, яркость. За тридцать секунд все преобразилось, все тело ребенка из темно-синего стало нормального розового цвета.

Тогда я очень осторожно завязал узелки швов, так как под действием надувшейся артерии они легко могли порваться. Закончив с узлами, я обрезал кончики ниток. Опасность окончательно отступила. Угрожающая тень, которая зримо приблизилась к нам и обдала холодом, замерла. Теперь она медленно рассеивалась.

Эта плавная и чистая хореография, эта решимость сразу дали мне понять, что становление хирурга проходит через долгую и тягостную тренировку рук, пальцев, сознания, и только оперируя раз за разом, можно приобрести это техническое мастерство и понимание органических характеристик различных тканей, их состава и основных свойств.

И именно это я продолжаю делать ежедневно и неустанно после возвращения в Женеву. Я провожу, то как ассистент, то как оперирующий хирург, операцию за операцией... на сердце. Да, на сердце, поскольку я сменил специализацию! А все из-за больницы Бельвю. Все из-за Гросси и Спенсера. Из-за сердца. Потрясение, которое я испытал, когда увидел, как после моего первого аортокоронарного шунтирования сердце набирает силу, было сильным, слишком сильным, чтобы я мог остаться невредимым. И эта встряска осталась со мной навсегда. А еще это было моим вторым откровением. Одним из тех, что заставляют людей менять траекторию. Из тех, что заставляют отказаться от всех этих органов, хотя они были такими увлекательными, и посвятить себя отныне лишь одному: сердцу. И виновниками моего обращения были Джин Гросси и Фрэнк Спенсер, которые увлекли меня в свою область и открыли мне в Нью-Йорке двери кардиохирургии.

Слова заведующего хирургическим отделением нью-йоркского университетской больницы Фрэнка Спенсера оказались для меня пророческими. Он утверждал: «Сердце – это наркотик. Не пускайте к нему кого попало, кто его тронет – подсядет».

Это со мной в тот день и произошло.

И вот тогда у меня затряслись руки, живот свело каменной судорогой, ноги подкосились. Мы переглянулись в некотором ступоре, все еще оцепенев от этой злобной силы, которая сейчас развеивалась. На этот раз Изабель даже не пыталась скрыть упрек во взгляде.

– Черт, меня чуть кондратий не хватил!

Я чуть неловко повел плечом в знак согласия. И признался:

– Не тебя одну! Ох, Иза, не тебя одну.

Больше никому говорить не хотелось. Понятно, что в воздухе еще плыла эта смесь страха и облегчения от того, что разум остался при нас, но главным было другое. Вот это отчетливое и яркое, предельно ясное чувство, которое возникает, когда молния ударила слишком близко. Когда снова все спокойно, но ты еще на какое-то время ослеплен и оглушен. В операционной тоже все снова стало тихо. И в это верилось с трудом. Ничто не выдавало драму, которой мы чудом избежали. Сердечный ритм был нормальным, тон – гармоничным. Кровяное давление в норме, кровь идеально насыщена кислородом, лучше, чем когда бы то ни было.

Нам понадобилось еще некоторое время, чтобы продолжить операцию. Мы словно окаменели. Затем мы начали закрывать грудную клетку в том сосредоточенном молчании, которое обычно следует за большим испугом. Мне было плохо. Я слишком рискнул, и спасением

этого ребенка я был обязан только огромной удаче. Внутренности все еще буравил ненасытный спрут. Я сбежал из операционной, оставив Ари и Ирен зашивать последние слои, и упал на стул в помещении, где мы пили кофе. Горло пересохло, во рту стоял вкус ржавчины.

«Кардиохирургия? Это просто, – говорил Спенсер. – Считай: десять лет – десять часов»: в течение десяти лет – работать по десять часов в день! Я опять счел формулу «а-ля Бельвю» преувеличенной, но опыт доказал мне ее правильность.

Придерживаясь этого режима, я уверенно двигаюсь вперед и чувствую, как профессия входит в меня и крепнет. Я продолжаю следовать заветам великого Фрэнка, который уделял большое внимание критике каждой проведенной операции сразу же после ее завершения, каким бы ни был ее исход. Он предписывал нам делать заметки после каждой сложной операции и, когда опять предстоит что-то подобное, перечитывать их перед операцией, «потому что память уже утратила детали, а именно они отличают хорошее от превосходного». И наставлял: «Проводите больше времени в операционном блоке. Оперируйте сами и смотрите, как оперируют другие!»

Я пережил опыт, который дезориентирует. Из тех, что заставляют задуматься о правильности выбранного курса. Я прекрасно знал, и по здравому смыслу, и по небогатому еще опыту, что мы не всегда оказываемся великими спасителями в безнадежных ситуациях. А еще я знал, что порой мы направляем в пропасть судьбу, которой не так уж грозила опасность. Я слышал о подобных драмах, а несколько пережил сам, но всегда на расстоянии, в качестве ассистента. Как Ари и Ирен сегодня, без прямого участия. И к тому же речь шла прежде всего о пациентах уже в годах, которые говорили о своей жизни в прошедшем времени.

А здесь на меня резко обрушилось осознание моей ответственности за ту драму, которой мы чудом избежали. За то, что необдуманно пошел на риск. За безумие. В этот раз именно я разыграл на шахматной доске опаснейший дебют белыми. Это я пригласил смерть на операцию, куда ее обычно не зовут. А она материализовалась. Она возникла внезапно, как те грозовые тучи, черные от дождя, которые вдруг омрачают ясное небо и охлаждают знойный воздух. Тяжелая, ледяная, всепоглощающая тень. Она заговорила зловещими стонами нашего пульсоксиметра, сгустила краски агонии. Сбросить ее покрывало удалось лишь последним рывком уже задыхающегося организма. И большим везением.

Эти принципы поддерживали меня. Чем больше было прочищенных сосудов, вскрытых грудных клеток, исправленных сердец, тем легче было мне в новой области, тем крепче становилась моя уверенность.

И меня пропитывала философия «cardiac attitude»<sup>14</sup>, это невероятное сочетание дерзости и скромности, такое необычное в огромном мире хирургии. Я был одержим ею.

Окаменев от ужаса, я воображал, как снимаю простыни, укрывающие этого ребенка, и обнаруживаю его мертвым. Потухшие глаза. Расширенные зрачки, уже высохшие, без блеска. Мертвенно-бледная кожа, безжизненное тело, которое вскоре окоченеет. Мой ужас при этом зрелище! И ведь этого можно было избежать, и ведь именно я был в этом повинен! Все зависело от таких мелочей! Дело решилось одним колебанием воздуха: соскользнувшая игла при проходе сквозь артерию, нить, обвившаяся вокруг инструмента, резкого или просто неточное действие, неловкое движение. Это видение из глубин Дантова ада становилось таким страшным, таким невыносимым, что я хотел вычеркнуть его из своего сознания, из самого своего

---

<sup>14</sup> «кардиологическое мировоззрение». – Прим. пер.

тела, пока оно не оставило там чересчур глубокий след. Я весь встряхнулся, как уличный пес, вылезший из воды, и не смог сдержать хрип. Сиплый стон.

– С тобой все в порядке?

В комнату вошла Изабель. Я испытал смущение и облегчение. Смущение, потому что так откровенно показал свои страдания, и облегчение, потому что ее появление помогло мне отвлечься, вырваться из круговорота мрачных мыслей.

Множество часов в забое, выходных и ночей в свете налобной лампы закалили мою ловкость и веру в свои умения. Мне понадобится еще несколько лет, чтобы накопленный опыт вознес меня на ту прекрасную ступень, на ту высоту, откуда можно ясным взглядом оценить настоящую трудность операции, где можно точно проложить свой маршрут по всем изгибам ее течения, предугадать все ловушки. Туда, где четко знаешь, что не выйдешь за пределы контролируемых рисков, как бы узки порой они ни были.

Ари присоединился к нам чуть позже. Я машинально проводил его взглядом, но мысли мои все еще были далеко. Он налил себе кофе и залпом выпил его. С улыбкой перелистал газету, валявшуюся в комнате. Принялся что-то напевать. Вокруг меня заново возникал привычный мир, обычные движения, нормальные реакции, все это заново обретало очертания. Спрут разжал хватку, и мой ум снова сосредоточился на знакомых деталях. Как водолазы поднимаются на поверхность воды с остановками для декомпрессии, я задержался на промежуточном уровне – между недавно парализовавшим меня апокалиптическим видением и образом завтрашнего дня, который, я уверен, будет совсем на него не похожим, может быть, даже нормальным. Потому что Природа устроена так, что не может до бесконечности сострадать чужому горю. Наверное, так надо. Чтобы это оцепенение, это помеха на пути потока жизни не преградила его навечно.

Где-то в глубине души все еще бурлило, затихающий ужас все еще терзал меня. И все-таки я не хотел, чтобы это признание в слабости, этот приступ страха вышли наружу. Я хотел заковать их. Чтобы предупредить любые упреки, я выбрал неторопливую, почти уверенную интонацию, чтобы скрыть переживания и вновь погрузиться в нормальный мир.

– Да, друзья мои, сегодня снаряд просвистел как никогда близко. В какой-то момент я даже подумал, что парнишку мы потеряем. Насколько его сердце едва билось – настолько мое из груди выскакивало.

– А этот затухающий звук, вот что всю душу вынимало.

– А цвет, Изабель! У тебя был только звук, а у нас еще и этот цвет. И он неотвратимо темнел. Невероятно, как они сошлись вместе, чтобы измерить силу жизни в этом мальчике. Да уж, сегодня нам достался полный набор ощущений.

– Ага, представление со светом и звуком.

Это был Ари, который выглянул из-за газеты, довольный своей формулировкой. Он уже оправился от подавленного состояния, которое еще владело нами – его виновниками. Ведь все-таки, в конечном счете, драмы не произошло. Ари весело засмеялся. Для него жизнь была прекрасна, и он пил ее захлеб. Я задумчиво размешивал кофе. Мы с Изабель лишь слегка улыбнулись в ответ.

А сердце все еще было не на месте.

А еще этот опыт открыл мне, что заслуга оперирующего хирурга, пожалуй, не столько в чудесах высшего пилотажа, сколько в оценке возможного риска. Если бы в тот день мы использовали аппарат искусственного кровообращения, операция вышла бы тяжеловеснее и без драйва, зато избавила бы нас от столь рискованного прыжка в бездну, от крутого виража, близкого к катастрофе. Передо мной в мельчайших деталях

предстала та предательская угроза, ужасная для хирурга, когда его дерзость, опьяненная успехом, кружит ему голову и заносит его слишком высоко. Так высоко, что он более не чувствует притяжения основных законов, так высоко, что он начинает считать себя выше них, презирать страх, порожденный уважением, который должен всегда превалировать перед лицом опасности. Так высоко, что он начинает считать себя непогрешимым.

В тот день, когда одна только удача спасла меня от смертоносной катастрофы, я понял, что такие громадные ошибки, до сих пор казавшиеся мне скорее теорией, не пощадят и меня. Я с горечью осознал, что не стану хирургом без своей доли осложнений, страхов и неприятностей.

А иногда и заблуждений. Как сейчас.

## Изящество жеста

*У водителя не осталось времени затормозить. Фуке стоял как вкопанный и только плавным движением провел курткой перед самым капотом несущегося на него автомобиля... и освободившейся правой рукой поприветствовал зрителей. Трибуны взорвались ревом и свистом.*

*– Оле! – выкрикнул Фуке*

*Антуан Блонден, 1922 – 1991. «Обезьяна зимой»*

### Цюрих, 1997–2012

#### Париж, 2000

В субботу утром я уехал из Цюриха «домой», на ферму в Бонкуре, деревне моего детства в департаменте Юра. Я всегда любил этот уголок земли, его долины, леса и его жителей. Этот глоток деревенского воздуха настолько контрастирует с замкнутым в четырех стенах миром моей работы, что всегда дает мне энергию и укрепляет мой ум. Естественная простота людей, которые как будто берут паузу, чтобы наблюдать, слушать, ощущать, побуждает и меня самого взглянуть на мои заботы со стороны и понять их относительность.

Переступив порог кухни, я был потрясен не столько размером огромного календаря на стене, сколько изображением на нем: там была футбольная команда. Я тем более удивился, что знал о полном безразличии моей матери к этому виду спорта. Во времена наших с братом спортивных подвигов она и правда собирала вырезки из газет, писавших о наших заслугах, но ни разу не побывала ни на одном матче. Она с улыбкой слушала наши жаркие споры о воображаемых положениях «вне игры», незасчитанных пенальти, прискорбно упущенных «готовых голах». В конце концов она кое-как запомнила, кто такие Пеле, Кройфф и Марадона, но этим ее футбольные познания и ограничивались.

С первого взгляда я заметил, что это команда юниоров, выстроившаяся в два ряда. Одни ребята смеются, другие выглядят зажатými, третьи уже приняли суровый вид, осознавая свою ответственность. Я спросил у матери, кивнув на стену:

– Ты что, наконец заинтересовалась футболом? – я подчеркнул слово «наконец».

– Подарили. Смотри, узнаешь его?

Она показала мне игрока в середине ряда.

– Нет, конечно. Я все-таки не со всеми футболистами в регионе знаком.

– Но этого ты оперировал.

– Вот как?!

Я присмотрелся к фотографии. Это лицо мне ни о чем не говорило.

– Ты уверена?

– Да. Его мама сама пришла и подарила мне этот календарь. Она говорит, что ты спас парню жизнь в прошлом году.

Я нахмурился. Мама продолжала:

– Его раздавила лошадь.

Ах да, ну конечно же! Теперь я стал вспоминать. Этот эпизод я прекрасно помнил, но ребенка не смог бы узнать. А мать пояснила:

– Малыша зовут Кевин. Похоже, он забивает много голов.

Я хорошо помнил тот день, ту операцию, то сердце и того мальчика. Кевина к нам срочно перевезли из районной больницы, где он находился под наблюдением из-за размождения грудной клетки. Ему не повезло оказаться на пути лошади, которая была ослеплена светом с улицы и вырвалась из конюшни. Бегущая лошадь сбила его с ног и растоптала. Копыто вошло в груд-

ную клетку. Первые выводы – переломы ребер и закрытая травма легкого – были не слишком тревожны, пока не появился шум в прекардиальной области. Прогрессирующая травма сердца. События понеслись стремительно. Над регионом взмыл вертолет.

В конце девяностых я уехал из Женевы в Цюрих, столицу кардиохирургии. Марко Турина твердой рукой руководил этим новым направлением и контролировал подготовку многочисленной команды хирургов. Конкуренция была жесткой, но честной, поскольку основывалась прежде всего на профессионализме и эффективности. Я делал всевозможные операции на сердце у взрослых. Моим хлебом насущным было аортокоронарное шунтирование при лечении атеросклероза – эндемической болезни нашего общества. Эта тонкая хирургия была делом как раз для меня. Видя, как легко и бережно я накладываю швы, и зная о моем интересе к врожденным порокам сердца, Марко постепенно увлек меня в детский сектор, хотя эти угоды ревностно охранял сам, вместе со своим заместителем. Я уже был знаком с этой областью до приезда в Цюрих, но здесь я обнаружил гораздо больше пациентов, и в том числе, благодаря репутации клиники, много новорожденных, а это самый сложно устроенный и самый трудный технически бастион в крепости кардиохирургии – может быть, и во всей хирургии вообще.

В тот день я уже час как вышел из операционного блока, когда раздался сигнал пейджера.

– Рене, можешь прийти? Мы тебе одну эхокардиографию хотели показать.

– Сейчас?

– Да, хорошо бы, если бы ты пришел прямо сейчас. Тут сложная ситуация. Оливье уже здесь. Ждем.

Это Мануэла, моя коллега по кардиологии. Я направился в их смотровой кабинет, где царил массивный аппарат ультразвуковой кардиографии. С помощью зонда он направляет волны сквозь тело, а затем анализирует и обрабатывает отражение. Мы получаем «нарезку салями» с видами нужных органов, а если увеличить количество кадров на протяжении сердечного цикла – то и видео. Тогда сокращения миокарда, игра клапанов и кровотоков видны с удивительной достоверностью. Простота и надежность этого аппарата сделали его важнейшим прибором в диагностике сердца.

Когда я пришел, Оливер, кардиолог, которого называют «вмешивающимся», потому что он специализируется на чрескожных вмешательствах, буквально прилип к экрану. Я похлопал его по плечу в знак приветствия.

– Оливер, уже здесь? Что, так сильно пахнет жареным?

– Знаешь, ситуация сложная. Глянь-ка, этого мальчика раздавила лошадь.

– Ничего себе! Да, действительно, может быть серьезно.

Мануэла запустила на повтор сохраненные кадры. Я не сразу понял, что не так. Сокращения миокарда хорошие, клапаны работают, как крылья бабочки. Тонкие и нежные, закрываются и открываются на всем ходу с равномерностью метронома. И вдруг – аномальный проход крови через межжелудочковую перегородку.

– Упс! – сказал я, показывая пальцем на это место.

– Да, это и есть его проблема... точнее, одна из проблем.

– Ничего себе! Есть еще и другие?

Мануэла кивнула и вывела на экран другой кадр, сфокусированный на левом желудочке.

– *Bloody hell!*

– Да, есть еще и второй разрыв на стенке желудочка.

Видео было впечатляющим. Мы видели разрыв желудочка и кровь, бурлящую при каждом сокращении в маленьком кармашке с тонкой перегородкой. Вроде грыжи.

Такие кармашки не стабильны: они будут увеличиваться, пока не прорвутся, и тогда – смертельное кровоизлияние. Пресловутые разрывы в два этапа: первый, неполный, происходит в момент травмы, а второй, завершающий, разрыв возникает внезапно несколькими днями позже. Угроза очень серьезна, так как каждое сокращение толчками направляет кровь к последним сдерживающим слоям.

Мануэла вдруг перешла на шепот, как будто шум или движения могли нарушить внешнее затишье:

– Последний слой уже довольно тонкий. Сколько времени он еще продержится?

– Это самый главный вопрос, так как если он порвется...

– Ребенок пока стабилен. Он под препаратами для снижения давления. Так мы можем выиграть еще немного времени.

– А оно нам очень нужно, потому что здесь у нас настоящая бомба замедленного действия.

Такие операции – «неонатальные», как их называют, – вдохновляли меня. Маленькие размеры сердца еще усиливали впечатление, что ты проникаешь в ядро бытия, в самую суть жизни. Внутри эти грудные клетки представлялись мне уже не просто машинным залом, как это иногда бывает со взрослыми, от них исходил невероятный магнетизм – почти фантастический. Может быть, причиной тому ускоренный ритм сердцебиения? Живые реакции миокарда? Таинственное нечто, окружающее это беспрестанное трепетание?

И именно тогда я с особой силой осознал важность больших стратегий. Некоторые сердца с врожденными пороками – настоящие анатомические головоломки, такие же запутанные, как кубик Рубика, когда ни одна структура не подключена как надо, левая половина справа, верхние клапаны внизу, сосуды не там, где должны быть. Можно упростить их коррекцию, сведя весь комплекс к «сердцу земноводного» с единственным желудочком. Это легкое решение, доступное многим. Но все же для млекопитающих Природа умело и тщательно разработала на протяжении тысячелетий мотор с двумя желудочками, один – для легких, другой – для организма. И эта новая схема – с двумя цилиндрами – удвоила нашу продолжительность жизни, просто удвоив срок службы мотора. Проектирование восстановления этих сердец – «кубиков Рубика» в уме порой требует таких же утомительных усилий, как и его воплощение. Это как предугадать в шахматах распределение сил на доске на пять или шесть ходов вперед! Желая любой ценой восстановить схему сердца млекопитающих, я обнаружил сложную, хорошо оснащенную и запутанную конструкцию из массы деталей, где только с объемным видением и всесторонним анализом можно было добиться цели.

А еще в детской хирургии была возможность творческого подхода, и это завораживало меня. Тонкое строение клапанов и желудочков вместе с необходимостью исправить искаленные части, а не заменять их протезами без возможности роста, побуждало действовать именно творчески. Овладевать изгибами, формами и объемами. Ваять объемную скульптуру. Возвращать гармонию.

Я выпрямился на стуле и резюмировал:

– Так, друзья мои, эти два разрыва будет нелегко прооперировать. Один расположен в почти недоступном месте, позади трабекул левого желудочка, а другой, который рискует прорваться, находится, судя по всему, в непосредственном контакте с коронарными артериями. Его нужно закрыть, не нарушив кровотока в них, иначе...

– Иначе будет инфаркт.

– Верно. И он будет обширным и, возможно, смертельным, так как разрыв произошел не в стороне от артерий, а у их основания. Я полагаю, что он находится после разделения общего ствола на две основные ветви.

Я уже был скорее в собственных мыслях, чем в реальности. Я предвосхищал эту операцию, расставлял фигуры на доске и просчитывал комбинации. Но я продолжал:

– В идеале ты, Оливер, закрыл бы перфорацию между желудочками зонтичным фильтром, а мы бы по горячим следам устранили разрыв и обезвредили эту бомбу.

Я повернулся к нему:

– Как думаешь, сможешь сыграть в пикадора?

Кардиологи, занимающиеся эндоскопией, напоминают мне пикадоров, так как они вводят несколько катетеров через проводник в бедренные сосуды. Оттуда они поднимаются по кровотоку до сердца, двигаются по его полостям и, когда катетеры на месте, работают дистанционно, чаще всего расширяя слишком узкую структуру или размещая устройство, закрывающее ненужный проход. И тогда несколько тонких стержней торчат из паховой складки пациента, как бандерильи из спины быка на корриде.

– Да, должно получиться. Если у меня не выйдет, придется разбираться тебе, хотя туда и трудно подобраться. Обязательно нужно закрыть эту перфорацию, слишком много крови в нее уходит.

– Только аккуратно, ладно? Там ведь еще один разрыв, и его нельзя терять из виду, пока ты будешь работать. Из-за него мы будем начеку, во всеоружии. Если что не так, мы тут же вмешаемся.

Я встал и подытожил:

– Готовь операционную, Оливер. А я пока навещу мальчика и его родителей, если они уже здесь.

Мое желание овладеть этой областью хирургии было таким непоколебимым, что я попросил академический отпуск. Я хотел усовершенствовать эту тонкую подготовку в признанном специализированном центре. Тогда Марко порекомендовал мне Паскаля Вуэ, видного хирурга из больницы «Неккер» в Париже.

Это было грандиозное время. Паскаль оказался именно таким хирургом, каким я хотел бы стать. Дотошный, точный, с подробным планом в голове, он двигался во время операций с тем изяществом и неопишуемым стилем, которые создавали впечатление, что операция проходит сама собой без видимых усилий с его стороны. Казалось, он пролетал над препятствиями, легко избегал сложностей там, где другие продвигались лишь с большим трудом. Он был великим властителем, и он открыл мне и помог преодолеть последние тайны этой хирургии высокого полета.

Это было незабываемое время. В свободные часы я снова стал посещать музеи, такие доступные здесь, особенно музей Родена, Бурделя, Цадкина. Я всегда отдавал дань уважения скульпторам, таланту которых завидую, в особенности тому качеству, которое я бы так хотел разделить с ними: подчинение третьего измерения. Время в Париже прошло для меня в какой-то сказочной реальности, как в кино.

Оливер включил аппаратуру для эндоскопической операции, мониторы, мощные рентгены. Благодаря им он сможет следить за продвижением катетеров внутри сосудов и сердца.

В паховой складке пациента он проколол бедренную вену и ввел один из проводников. Поднял его до сердца. Сначала он вошел в правое предсердие, прошел трехстворчатый клапан,

чтобы попасть в правый желудочек. Там он прощупал перегородку, ища перфорацию. Его катетер довольно быстро обнаружил ее, прошел насквозь и остановился с другой стороны перегородки, в левом желудочке. Затем Оливер поднял зонтичный фильтр по этой нити Ариадны. Сейчас он был сложен, как обычный зонт, чтобы занимать как можно меньше места в пути. Оказавшись на месте разрыва, зонтичный фильтр раскрывается. Он прикрепляется к краям разрыва и закупоривает его.

Нашему пикадору удалось закрыть эту брешь меньше чем за час. Теперь пришла наша очередь устранять другой разрыв, который грозил окончательно прорваться.

Для этого нам придется остановить сердце.

Остановить сердце! Эти два слова обретают серьезный смысл, поскольку именно с сердца и начинается жизнь.

Как бы ученые ни раскрывали все секреты сердца, ни сводили его к простому насосу, ни сокращали его до нескольких суммарных показателей: столько-то ватт, такая-то частота, такая-то пропускная способность – его магия остается. Поэт – а он живет в каждом из нас – вопреки этим веским доказательствам, продолжает приписывать ему свои душевные порывы и отождествлять с самой жизнью. Для него сердце, которое перестало биться – это остановившаяся жизнь. Этот простой вывод – изначален, и он сильнее, чем все картезианские изобличения. А еще поэт воспринимает сердце как орган эмоций, помогающий ощутить вкус жизни. Хотя это вовсе не его роль, так как эмоции генерирует мозг, а не сердце.

Заблуждение это восходит к очень далекому прошлому, когда наш организм, чтобы защитить себя от окружающих опасностей, прибегал к простым, бинарным механизмам, включающим режим нападения или бегства, который обеспечивает выживание. Наш первобытный мозг пронизал все внутренности своей нервной системой – она называется нейровегетативной – чтобы включать эти базовые реакции. Ее сигналы работают сразу в нескольких направлениях: зрачки расширяются, живот крутит, мочевого пузырь сжимается, дыхание становится глубже, сердце бьется быстрее и сильнее. В процессе эволюции другие, более развитые реакции, в том числе и наши эмоции, воспользовались каналами этой системы. Параллельно наш древний мозг увенчался более проработанной и дифференцированной настройкой, отвечающей за разум и мысли, которая подчинила его себе. Примитивные механизмы продолжают владеть нашими внутренностями, но сейчас эти рефлексy частично контролируются и подавляются корой головного мозга.

Из всех органов эта нейровегетативная буря сильнее всего действует именно на сердце, которое так живо на все реагирует и работает постоянно. Так под действием этого древнего механизма сердце сделалось резонатором наших эмоций, хотя они и исходят от мозга. Радость, грусть, страх, гнев, удивление – все они выражаются в работе сердца. А реакции нашего сердца на чрезвычайно сильные эмоции, из тех, что вырываются из-под контроля разума, могут быть особенно бурными: сердце может быть так угнетено или забиться так неистово, что кровообращение, которое оно поддерживает, начинает сдавать. И тогда мы падаем замертво или почти замертво, как жираф из шариков на резинке оседает, когда мы нажимаем на основание игрушки и резинка ослабевает.

А где во всем этом любовь? Любовь, высшая из эмоций?

Она просто-напросто полностью слилась с сердцем, которое стало ее изображением и символом. Скорость и сила, с которой бьется наше сердце –

тяжело или легко, мучительно или беззаботно – всегда отражали все оттенки наших любовных порывов. Наконец, какая мама не скажет своему ребенку с искренним волнением: «Я люблю тебя всем сердцем»? Это, наверное, самое универсальное выражение, так как оно существует в стольких языках! Пожалуй, что во всех языках.

Жизнь и любовь, два наших самых драгоценных сокровища, объединены в этом единственном органе. И именно его мы должны сейчас остановить у Кевина, чтобы обез- вредить заложенную в нем бомбу.

На этой операции мне ассистировали мой помощник Хитенду и интерн-практикант Кристоф, а дежурному перфузиологу Хасану предстояло заняться аппаратом искусственного кровообращения.

Грудная клетка рассечена в центре по всей длине пилой с тонким вибрирующим лезвием. Перелом! Конечно, ровный, контролируемый, но все же перелом! Края на несколько сантиметров разведены расширителем. Теперь показался перикард – тонкая мембрана, толщиной в полмиллиметра, которая окружает, защищает и смазывает сердце. Он рассечен сверху вниз. В полости, которую он ограничивает, крови не было. Хорошая новость: разрыва миокарда пока не произошло. Но ситуация висит на волоске, разрыв может случиться от любой несвоевременной манипуляции с сердцем. И поэтому мы действовали с осторожностью сапера, вводя канюли в три важных сосуда, которые позволяют соединить систему кровообращения с аппаратом. Теперь ситуация под контролем: если разрыв и произойдет, аппарат немедленно включится и примет эстафету у сердца, чтобы обеспечить кровообращение. С такой подстраховкой сердце аккуратно стимулируется, чтобы можно было найти уязвимое место.

И тогда показалось алое вздутие размером с вишню, пульсирующее в боковой части левого желудочка.

– Смотри, Хитенду, вот этот чертов разрыв. Невероятно! Последний слой стал таким тонким, что через него видно, как кровь бурлит при каждом биении.

– Не думаю, чтобы он еще долго продержался.

– Я тоже. И тогда... несколько минут – и конец.

Научный гений обрел свою славу, проникая в механизмы Природы и вырабатывая решения, чтобы извлечь из них пользу или обойти их. Сердце можно остановить, только если будет сохранена его функция – обеспечение крово- обращения. Это категорический императив, его причина – мозг. Дело в том, что без кислорода его нейроны быстро разрушаются, гораздо быстрее, чем любые другие клетки. Серое вещество начинает размягчаться уже после четырех минут асфиксии. Так что именно мозг долгое время был препятствием на пути кардиохирургии, так как другие органы способны выдержать гораздо более долгую асфиксию. Задача сродни починке мотора во время движения автомобиля. Так что до изобретения аппарата, поддерживающего кровообращение, остановить сердце для вмешательства было немыслимо. Таким аппаратом стал прибор «сердце-легкие».

Сердце и легкие так неразрывно и сложно переплетены, что их невозможно отделить друг от друга. Если с анатомической точки зрения легкие находятся на периферии грудной клетки, а сердце – в центре, то с физиологической – с точки зрения их функционирования – легкие находятся в середине сердца, между правой и левой его половинами. Так что нужно было изобрести аппарат, который взял бы на себя функцию обоих органов. Функцию сердца – работу насоса – заменить было довольно легко. А вот функция легких – газообмен между воздухом и кровью – оказалась настоящей головоломкой.

Только после двух десятилетий исследований, к концу пятидесятых, этот прибор с двойной функцией стал реальностью.

С ним гордиев узел был разрублен.

С ним хирургия на открытом сердце пошла на взлет.

Мы осторожно отпустили сердце, занявшее место в предназначенном ему пространстве. Зажимы на канюлях открыты. Аппарат искусственного кровообращения готов начать работать. Хасан включил вращение роликов, которые, как роторный мотор, запускают кровообращение по параллельному кругу, сдавив гибкую трубку. Сердце, лишенное притока крови, работало вхолостую, его полости опали. Объем кровотока, артериальное давление, оксигенация крови обеспечиваются одним и тем же аппаратом. Все показатели в норме.

Теперь сердце можно остановить для вмешательства, мозг и другие органы продолжают получать кровоснабжение. Они не пострадают от асфиксии.

Сердце – это отправная точка и точка слияния кровотока. Кровь выходит из сердца через один сосуд – аорту – и возвращается через два – две полые вены. Таким образом, с тремя канюлями – двумя для дренажа и одной для восстановления – кровь можно полностью пустить по другому маршруту и вернуть под давлением. Обогатившись энергией, она циркулирует во всем организме, даже и не проходя через сердце. Теперь его можно остановить.

Чтобы вызвать его остановку, используется тот факт, что миокард получает питающую его кровь через свои собственные артерии: коронарные. Так что сердце изолируют, ставя зажим на аорту (чтобы кровь, идущая из аппарата, в него больше не попадала), и в течение нескольких минут вводят каплями холодную кровь, богатую калием, в сегмент, откуда выходят обе коронарные артерии. У этой крови только один выход: в коронарные артерии и оттуда в миокард. Холод и калий быстро пропитывают его и через несколько секунд вызывают остановку сокращений. И это состояние длится до тех пор, пока мышца холодная и насыщена калием.

Сердце Кевина, пустое и неподвижное, снова было простимулировано, теперь уже смелее, чтобы показать разрыв. Спасительный внешний слой рассечен легким прикосновением скальпеля. Под ним открылась широкая брешь. Ее края отступили под действием сокращений. Через разрез виднелась внутренняя часть сердца.

– Ничего себе, Хитенду! Тут даже видно сосочковую мышцу митрального клапана и хорды створок.

– Непривычный угол зрения.

– Да говори уж прямо – совершенно исключительный вид, который раньше не видел никто.

Как мы и опасались, разрыв находился между двух коронарных ветвей.

– Нельзя закрыть этот разрыв, просто соединив края в точках фиксации. Коронарные артерии окажутся сдавленными швом. Нужно опираться только на внутренние слои миокарда.

Шов тщательно выполнен в глубине раны, конец нити сначала оставлен свободным. Закончив шов через край, мы осторожно натянули его концы, чтобы сблизить края раны – только до соприкосновения. По мере того как рана закрывалась и ее края сближались, коронарные артерии вибрировали, слегка изгибались, но не отклонялись от своей траектории. Более слабое натяжение не закупорило бы рану полностью, а более сильное разорвало бы хрупкую мышцу: одно другого хуже. Легкое, как взмах крыла, движение пальцев, чтобы завязать нитку и зафиксировать шов с точно рассчитанным натяжением. Нитки обрезаны у самого узелка. Разрыв закрыт, ликвидирован.

Можно открыть и снять зажим с аорты.

Открытие зажима аорты – «разжатие» – вызывает новую реакцию сердца, с оттенком чего-то магического, почти сверхъестественного. Горячая кровь, которая удерживалась зажимом, изливается в первый сегмент аорты, устремляется в коронарные артерии и вновь орошает миокард. Она разогревает его и смывает калий. За несколько секунд, без всяких манипуляций хирурга, без медикаментов, сердце... снова начинает биться. Простота и надежность этого феномена всегда завораживали меня.

Это сильный момент, очень сильный. Это момент, когда сердце вдруг как будто снова оживает, момент, когда возникает впечатление, что оно хочет отвоевать свою территорию, когда оно возвращает себе роль мотора для всего организма.

Сердце Кевина вновь забилося секунд через двадцать. Пока оно работало вхолостую, ведь кровь еще поступала через аппарат. Пришла пора дать ему нагрузку. Хасан постепенно сжимал венозные канюли до их закрытия. Тогда кровь пошла мимо них и достигла желудочков, а они своими сокращениями направили ее, с одной стороны, в легочную артерию, с другой – в аорту.

Миокард работал прекрасно, сильно, с отчетливыми сокращениями. И, главное, не было кровотечения на месте нашего вмешательства. Шов был надежным и крепким. Все под контролем. Канюли можно вынимать. Перикард, грудина и кожа закрыты. Операция закончена, сердце Кевина восстановлено и вновь полно сил.

Когда я вернулся из Парижа, Марко Турина, видя уверенность, которую я приобрел после «огранки у Вуэ», вручил мне бразды правления отделением детской хирургии. Более того, поскольку он предчувствовал, что вскоре эта отрасль станет отдельной специальностью и отделится от хирургии взрослых, он делегировал мне эту миссию с предсказанием: «Вот увидите, скоро в университете создадут кафедру детской кардиохирургии. Если вы будете хорошо делать свою работу, у вас есть неплохие шансы ее возглавить».

Кевин быстро поправился после операции. Он вышел из наркоза через несколько часов и выписался через неделю. Сейчас он живет как любой другой ребенок, свободно, без ограничений и, главное, без всякой угрозы.

Он снова стал играть в футбол.

– И на какой позиции играет наш чемпион?

– Боже правый, Рене, ты слишком многого от меня хочешь. Не знаю. Центральный нападающий?

– Ну, это ты могла бы и знать. Для него это точно не мелочи.

– Верно, если он вроде тебя и твоих братьев. Я помню, как вы болели футболом. Только он в жизни и был.

– В таком возрасте, мама, это нормально. Кстати, знаешь, какая главная мечта у любого пацана, который играет в футбол?

– Нет, – нерешительно сказала она. – Играть, как бразильцы?

– Возможно, но есть еще главнее.

Через несколько секунд она сдалась:

– Не знаю, расскажи.

– Забить гол в дополнительное время в финале Кубка мира.

Она взглянула на меня немного озадаченно:

– Вот так?

– Да, это означает – забить победный гол. И не просто в каком-нибудь рядовом матче.

Она кивнула:

– Да, ты прав.

## Капелька воды

*There were some tribes  
who held up their open palm  
against the beginnings of wind.  
Who believed that if this was done  
at the right moment  
they could deflect a storm  
into an adjacent sphere of the desert,  
towards another, less loved tribe<sup>15</sup>.*

*Майкл Ондатже (р. 1943), «Английский пациент»*

### **Цюрих, 2001–2012**

Моя секретарша Стелла – воплощение слегка мятежной юности и находчивости – оставила дверь между нашими кабинетами открытой. Увидев меня, она отвлеклась от компьютера и лукаво сообщила:

– Тебе тут еще немножко работы подкинули.

– Вот как?

– Да, звонили кардиологи, у них новорожденный с тетрадой Фалло. Девочка, родилась вчера, нужно срочно оперировать. Я посмотрела твоё расписание. Можно поставить её на пятницу, как исключительный случай.

И во внезапном приступе нежности она добавила:

– Я видела её родителей. Милейшие люди. Я постаралась их успокоить. Ты увидишь, они очень волнуются.

Я стал руководителем отделения детской кардиохирургии в Цюрихе. Сбылось пророчество Марка Турины: в университете для этой специальности была создана новая кафедра, и её заведующим стал я. Мне удалось собрать сплоченную и профессиональную команду. Единство группы важно и в повседневной жизни, но во время наших операций оно становится первостепенным, особенно когда операция ведется на краю пропасти. Каждый вносит свою лепту в успех общего дела. Тогда наша бригада похожа на камерный оркестр. Конечно, есть солист, который доминирует над ансамблем, но блеск исполнения зависит от виртуозности каждого артиста. Я обожаю моменты, когда рискованная операция проходит без перебоев, и только несколько слов, жестов, знаков задают общий ритм. Движения отточены, плавны, дополняют друг друга. Они синхронизируются с изменением ритма, складываются в систему и разворачиваются в безупречно четком хореографическом рисунке. Возникает нечто вроде волны, которая увлекает всех в своем движении. Я часто видел искорки удовлетворения в глазах коллег после особенно тонкой операции, когда сердце, на котором мы оставили след, снова билось свободно и сильно. Золотое правило этой ювелирной работы – эстетика и гармония всегда сопутствуют функциональности. То, что

---

<sup>15</sup> «Было и другое племя (и не одно), люди которого протягивали руки ладонями вперед, отстраняя от себя ветер. Они верили: если это сделать в нужный момент, можно направить ветер в иную часть пустыни, к иному, менее благословенному племени, которое было в немилости...» – «Английский пациент». – *Прим. авт.*

прекрасно и гармонично, работает хорошо и долго – это и есть две основные составляющие прекрасной жизни. К ним мы и стремимся – и я, и моя команда.

Стелла запустила программу на своем компьютере, которая содержала видеокadres ультразвуковой кардиограммы ребенка. Они показывали сильное сердце, но с крайне слабой циркуляцией крови от сердца к легким. Их сообщение происходило в основном через артериальный проток<sup>16</sup>. Это тяжелая форма тетрады Фалло, и для малышки – ее звали Катя – шел отсчет краткой «отсрочки». Ее жизнь зависела от кровотока в этом протоке, который запрограммирован на закрытие в ближайшие дни. Его закрытие прекратит кровоснабжение легких. Тогда в крови не будет достаточно кислорода, и Катя умрет от асфиксии.

Предшествующие поколения были хорошо знакомы с этой зловещей развязкой. Я до сих пор помню, как бабушка, не без доли фатализма в голосе, рассказывала нам, как эта печальная судьба постигла одного из ее родственников: «У них родился мальчик, который прожил всего пять дней. Просто угас, как свечка, и никто не знал почему». Другие говорили о «маленьких ангелочках», которые возвращались на небо. Только много лет спустя загадка этих детей, которые вот так «угасали» через несколько дней после того, как увидели свет, прояснилась для меня. Соединение сердца с легкими или с остальным организмом было неправильным, и изменение кровотока при рождении внезапно делало один из кругов кровообращения тупиковым, без питания – ситуация, не совместимая с жизнью.

И здесь повторился бы такой же исход, если бы мы с помощью вливания мощного вазодилататора не помешали бы закрытию протока до нашей операции.

В то время когда мы не располагали средствами обеспечить искусственное кровообращение, а значит, остановить сердце было невозможно, единственной помощью таким детям было создание знаменитого шунта Блелока, который увеличивает приток крови в легкие.

Шунтирование спасло много жизней – и спасает до сих пор, но оно не исправляет сам порок, и эффект его действия исчезает через десять-двадцать лет. Только вмешательство внутри сердца, там, где находится аномалия, позволяет восстановить анатомию и физиологию, близкие к норме, и обеспечить хорошее качество жизни и ее продолжительность.

Это внутрисердечное вмешательство стало возможным только с появлением аппарата искусственного кровообращения, примерно через двенадцать с половиной лет после впечатляющего прорыва в больнице Джона Хопкинса.

Стелла организовала встречу с родителями Кати. Оба молодые. Это их первый ребенок. Радость от рождения смешивается с тревогой – их дочке, такой маленькой, уже нужна операция. С помощью нескольких рисунков я изложил им проблему и планируемое вмешательство. К счастью, я работаю с органом, который легко описать и объяснить его работу.

И тогда настал момент обсуждения операционных рисков – тот момент, который потряс обоих, заставив осознать, что возможен фатальный исход, момент рыданий.

О, эти операционные риски! На заре эры кардиохирургии, в 1950-е – 1960-е годы, они составляли более 50 %. Многие пациенты, дети и взрослые, «умирали на столе» – так мы кратко называем смерть в операционной – или вскоре после операции. Сегодня, благодаря огромному прогрессу во всех

---

<sup>16</sup> Артериальный проток соединяет аорту и легочную артерию во внутриутробный период. В это время он необходим, так как позволяет крови миновать еще не функционирующие, лишённые воздуха легкие. До рождения кислород поступает к эмбриону из легких матери, пройдя через плаценту. При рождении дыхательная функция резко переходит к легким ребенка, альвеолы которых внезапно раскрываются. Теперь проток становится бесполезным, и его стенки сужаются вплоть до закрытия, которое происходит через несколько дней. – *Прим. авт.*

областях, от диагностики до самого хирургического вмешательства через анестезию и реанимацию, доля неудачных операций в целом снизилась где-то до двух-трех процентов. Но хотя опасность и взята под контроль, она все же не уничтожена, и для тех, кого она коснулась, эти цифры, изначально небольшие и абстрактные, внезапно обретают заоблачный размер: с двух процентов они взмывают до ста.

Мы постоянно сталкиваемся с пресловутой формулой «0 x ∞», когда риски стремятся к нулю, но последствия – смерть или осложнения на всю жизнь – к бесконечности. И, как в математической формуле, все возможно между двумя крайностями – между нулем и бесконечностью, между безграничной радостью и полным отчаянием. Этот гигантский разрыв отражается и в оценках, которые родители дают нам – хирургам. Среди них, с одной стороны, счастливицы – их много – которые возводят нас в ранг героев, с другой – несколько разочарованных, которые, поскольку так сложились обстоятельства, ненавидят нас, считая палачами.

Катю прооперировали на четвертый день ее жизни. Сокращенно Д-4. Грудина рассечена и раздвинута. Маленькое сердечко очень живое – «выжимает 120»<sup>17</sup>, как и положено сразу после рождения, пока пульс не замедлился, приспособившись к новым условиям кровообращения. На такой скорости его сокращения кажутся еще проворнее и изящнее. Легочная артерия была едва развита, она выглядела волокнистым канатиком, выходящим из правого желудка.

Аппарат системы искусственного кровообращения включен. Он работал спокойно, сердце можно останавливать. Мы рассекли недоразвитую артерию по всей длине. Легочный клапан, расположенный в ее основании, показал две частично сросшиеся створки. Мы осторожно разделили их тонким лезвием. Затем мы вырезали лоскут, наподобие заплатки для шины, из перикарда – мембраны, которая окутывает сердце – и пришили по краям разреза, чтобы придать легочной артерии нормальный диаметр.

Теперь, когда соединение между сердцем и легкими установлено, мы должны еще исправить другую аномалию: сообщение, «дыра» между желудочками должно быть закрыто.

Мы доберемся до него через правое предсердие, вздутие, которое накапливает кровь, идущую из обеих полых вен, и обеспечивает, таким образом, быстрое и эффективное наполнение желудочка. Через него мы действительно войдем в сердце.

Приблизиться к сердцу, дотронуться до него – долгое время это считалось актом кощунства, профанацией из-за сакрального значения, которое приобрел этот орган: он сталместилищем души, самой сутью бытия. И если сегодня наши вмешательства не имеют такой коннотации, в них, несмотря ни на что, сохраняется что-то фантастическое.

Я помню, как впервые взглянул на сердце изнутри. Едва предсердие было рассечено, как воздух устремлялся в сердечные полости. Свет налобной лампы вторгался в разрез и раскрывал их строение. Первым показывался трехстворчатый клапан, который препятствует оттоку крови во время сердечного сокращения. У него три створки, края которых прикреплены сухожильными хордами к коническим мускульным вздутиям. Каждая из них походила на половинку парашюта. В расправленном виде они превращались в подобие корабельного паруса, наполняющегося ветром. Створки были тонкими, как крылья бабочек, с такой же текстурой, а хорды – не толще

---

<sup>17</sup> Сто двадцать ударов в минуту. – Прим. авт.

паутинок. Но они были и такими же прочными благодаря равномерному распределению и усилению другими волокнами по бокам.

За клапаном открылся правый желудочек. Он выглядел – в пропорции – просторной пещерой с довольно гладким основанием, окруженной стенами и увенчанной крышей, и все это оправлено в мускульные трабекулы. Они действуют как ванты – соединяют и усиливают каждую часть желудочка, обеспечивают его геометрию. Возникающее переплетение многочисленных арок и готических сводов напоминало мне гравюры Пиранези: создается впечатление прочной структуры, несмотря на то, что ее составные элементы на вид тонкие и даже хрупкие. В свете лампы они окрашивались в теплые цвета, от оттенка слоновой кости у клапанных створок до желто-коричневого у миокарда.

Когда эта многоцветная архитектура оказалась на свету, я подумал о спелеологах, которые видят в свете налобного фонаря кристаллы скальной породы, отбрасывающие восхитительные отблески там, куда еще никогда не проникал ни один луч света, и окидывают взглядом красоту, не предназначенную для глаз.

Мы рассекли предсердие на несколько сантиметров. Аккуратно отвели в сторону трехстворчатый клапан и его многочисленные хорды. Прямо позади него открылся дефект перегородки. Мы выкроили вторую «заплату» по форме отверстия и пришили по краям. Теперь перегородка между двумя половинами сердца закрыта, в ней нет брешей. Разрез предсердия зашит тонкой нитью. Перед тем как стянуть швы, воздух, попавший в полости сердца, откачивается. Затем мы сняли зажим с аорты.

Возобновление сокращений сердца. Восстановление крово- обращения. Остановка аппарата. Закрытие грудной клетки через три часа после первого разреза. Операция закончена.

Эта операция не представляла для нас особых трудностей, если не считать, что она была сделана новорожденному. Для родителей Кати это была совсем другая история. Потому что это их собственная история: речь шла об их дочери, единственной и неповторимой, настолько исключительной, что для нее они пожертвовали бы всем на свете, легли бы вместо нее к нам на операционный стол, поменялись бы с ней сердцами, если бы это было возможно.

Они расстались с малышкой рано утром, когда проводили маленькую кроватку в операционную, и двери нашей крепости закрылись за ней. И началось долгое тревожное ожидание, продлившееся все эти три часа. Ожидание, когда они уже ничего не могли, ничего не видели. Единственной их надеждой было встретить дочку на выходе из этого длинного туннеля живой и, если возможно, здоровой.

Я позвонил им. Я знал, что с того момента, как за одной маленькой кроваткой закрылись двери операционной, их собственное сердце словно остановилось, замерло в ожидании этого звонка, чтобы забиться снова. Чтобы освободиться.

Трубку сняли после второго гудка.

– Мы только что закончили операцию. Все прошло хорошо.

Очень короткий диалог, потому что мне нечего рассказывать, когда все прошло так, как и было предусмотрено. Несколько вопросов о возможности посещения и, наконец – то, что говорят всегда:

– Спасибо, доктор. Мы всю жизнь будем вам благодарны.

Это слова, которые я слышал чаще всего в конце таких звонков – иногда вперемешку со слезами облегчения.

Конечно, спасена еще одна жизнь.

Без нас эта девочка утонула бы всего через несколько дней, как во времена наших бабушек и дедушек. Я прооперировал столько «Фалло», что головокружение, охватывавшее меня вначале, овладевает мной уже не так сильно. Привыкание, ужасное привыкание! И все же чудо никуда не делось. Давным-давно моя первая операция наполнила меня счастьем и особенным ощущением своей чрезвычайно важной роли. Ребенка привезли из Африки. В который раз его доставили почти что слишком поздно. Его кожа, глубоко синюшная, и глаза потускнели. Судорожный кашель вызывал удушье – тревожный знак того, что он уже вышел на финишную прямую. Я остановил его сердце и изготовил недостающий проход к легким. Каждый стежок был исполнен с тщательностью и точностью часового мастера. На ровные швы было приятно смотреть. Как и на начало работы освобожденного сердца. Оно принялось сокращаться без всякого напряжения. Это сердце, столько страдавшее раньше, билось теперь с удвоенной мощностью. Обретя силу, насытившись кислородом, кровь и весь организм сразу как бы озарились сиянием.

Кроме удовлетворения тем, что я все больше становлюсь хирургом сердца, я радовался осознанию, что подарил ребенку целую жизнь – от одного только слова «целый» у меня кружилась голова. Что изменил ход течения – течения жизни. И этот эпохальный поворот не был только теоретическим. Его подтверждали наши исследования и измерения, а еще он был виден, черт возьми, виден! Эта жизнь, прогноз которой не превышал нескольких недель, вдруг устремлялась по пути, предел которого не был виден – так далеко он отодвинулся.

У меня было впечатление, что я передвинул границы судьбы.

Сегодняшняя наша операция, каким бы подвигом она ни выглядела для девочки и ее родителей, не вызвала у нас такого сильного волнения, как раньше. Потому что ход операции, ее западни, тупики и опасные места были нам теперь хорошо известны. Потому что в каждый момент мы делали Природу своей союзницей. В конечном счете, именно она обеспечивает успех наших операций. Она заращивает наши швы, она дает жизнь структурам, которые мы сместили, сдвинули, а иногда переставили; именно она ассимилирует инородный материал, вживленный для того, чтобы направить кровоток по-иному. Природа доброжелательна до тех пор, пока мы ее уважаем, пока мы не противостоим ее принципам.

Уважение это, иногда с оттенком тревоги, продиктовано обычным здравым смыслом. Но, может быть, для меня оно идет – я имею слабость в это верить – от моих крестьянских корней. Ведь во времена моего детства мы действительно ощущали Природу совсем близко. Так близко, что, казалось, она управляет нашей жизнью. И потому, кроме огромной благодарности, мы испытывали в ее адрес некий страх, что-то скорее религиозного порядка, так как знали, что в любой момент она может взбунтоваться и напомнить нам о нашей ничтожности.

Столь резкий поворот этой судьбы напомнил мне одно поразительное озарение из детства, которое произошло на уроке географии. Учитель, сознательно добавив театральности, объяснял нам, что в горной цепи Юра есть хребет, который делит небесные воды между притоками Рейна и Роны. Он расписывал нам драму этих капелек воды: грозным вечером молния и ветер бросают их из стороны в сторону, и капельки падают по разные стороны

горного хребта – одни стекают на север, другие – на юг. «Они были друг к другу так близко, а теперь так далеко!» – восклицал он, сверкая глазами. И тогда я представлял себе, как эти капельки, которым было суждено попасть в ледяную воду, под порывами ветра вдруг меняли свое направление и падали с другой стороны хребта, чтобы течь к более солнечному будущему.

Моя операция напомнила мне эти порывы ветра, которые в точно рассчитанный момент радикально меняют судьбу некоторых водяных капель. Нам, вызывающим ветер, самыми прекрасными порывами кажутся самые первые, опьяняющие нас восторгом, затем – те, что меняют совсем неправильный курс капелек, когда те уже низко (действовать надо срочно) и очень далеко ушли от вершины (сложный порок), а может быть, их еще и подгоняет встречный ветер – когда внешние силы сплотились против нас. Наше обычное дуновение на этот мелкий дождик позволяет направить много воды на склон жизни. Изредка капелька, которой было назначено попасть на этот склон, а мы хотели еще дальше увести ее от вершины хребта, чтобы она спокойно и радостно текла в свою долину, внезапно оказывается по другую сторону из-за турбулентности в наших воздушных потоках. Очень больно от таких порывов ветра – неверно направленных, недостаточно проконтролированных. Очень мучительно думать об этих капельках, жертвах нашей неловкости и наших ошибок. От них остается сожаление, а иногда и шрамы на всю жизнь.

Сейчас наш порыв ветра был нацелен на капельку, летевшую еще высоко в небе, на достаточном удалении от вершины хребта. Наше дыхание, вовремя направившее ее к нужному склону, конечно, потребовало серьезных усилий, но не борьбы до изнеможения. Благодаря ему капелька теперь храбро стремилась в другую долину.

В долину жизни.

## Немного раньше...

*Мне наплевать на весь мир,  
Когда Фредерик мне напоминает  
О наших романах в двадцать лет,  
О наших горестях и нашем доме...  
За столом все смеялись, спорили,  
А мама подавала нам обед.*

**«Фредерик» Клод Левейе, 1932–2011.**

### **Юра 1970-е годы**

Дождь лил как из ведра. Я снял и убрал рубашку под навес – она, если что, будет сохнуть несколько часов, тогда как голову и торс можно вытереть одним движением полотенца. Штаны, носки и ботинки можно было выжимать.

Мяч вернулся ко мне. Легким толчком ноги я перевел его вправо, дал остановиться и, прищурившись, нацелился на угол поля, образованный несущей балкой кровли и горизонтальным рядом гвоздей в стене сарая на высоте двух метров. Это место по праву называется «девяткой», так как соответствует углу между стойкой и поперечной перекладиной футбольных ворот. Я хотел четким ударом попасть туда. Если соблюсти все параметры, то мяч по изогнутой траектории попадет прямо в «девятку», и это будет безупречный гол, который вратарь не сумеет отразить, так как он направлен в самый дальний от него угол.

Но мой брат Габриэль, стоявший в воротах, попросту отбил кулаками в сторону мой удар – мяч пропитался водой, и мне самую малость не хватило силы.

– Теперь моя очередь!

Я закончил серию ударов, и мы поменялись ролями. Габриэль решительным шагом направился за нашу штрафную линию. Он бил резко и гораздо меньше меня думал обо всяких фиоритурах, чтобы попасть в цель. Он отправил мне свой коронный удар – мощный, у самой стойки справа от меня. Ему удастся повторять этот маневр с правильностью метроному. Зато, когда в официальном матче надо бить пенальти, именно он выполняет удар с хладнокровием человека, который не задается вопросами и ни секунды не сомневается в успехе. И его мяч неизменно оказывается в сетке ворот сбоку. Но не успел он ударить по мячу, как...

– Нет, ну у вас с головой все в порядке? Вы не видите, что на улице творится? Чертовы хляби небесные! Пора корм задавать, а вы тут развлекаетесь. Да шевелитесь вы, боже правый, опять к молочнику опоздаем.

Громогласное явление отца нас отнюдь не вдохновило, мы не любили, когда приходилось прерывать наши дуэли. Ворча, мы отправили мяч под навес и ушли в хлев кормить скотину. Мой брат Бернар, не такой фанатичный поклонник футбола, не стал бросать вызов ливню из-за какого-то там мяча и отправился готовить ведра для дойки. Он ждал, пока мы покормим коров, чтобы начать доить.

На нашей ферме было три коровника: два для молочных коров и один, построенный позже, для телят. Еще было два отдельных места-бокса для лошадей, пока отец не купил трактор. Это был «Хюрлиманн». Когда я был мальчишкой, этот зеленый трактор, сияющий новизной – во всяком случае, таким я его запомнил – восхищал меня. Он был крепкий, сильный, он мог

все и издавал адский грохот. Он был моим божеством: я даже думал, что у него есть сознание. Я страдал вместе с ним, когда ему было трудно тянуть перегруженную телегу. Я гордился вместе с ним, когда, скатываясь по склону, он ревел на всю округу о своей мощи и всюду тархтел, а стрелка тахометра ложилась вправо. Иногда мне даже случалось разговаривать с ним. Отец мой, напротив, быстро стал менее ласков с моим любимцем, так как считал, что он слишком часто ломается – действительно, отцу регулярно приходилось копаться в его внутренностях – до такой степени, что, к моему большому огорчению, он стал его называть не иначе как «Хюрлихлам».

Мне было лет семь, когда я начал его водить. В поле родитель сажал меня на сиденье, включал скорость, выключал сцепление и давал мне руль. Сам он запрыгивал в телегу, прицепленную к сеновязалке, и складывал друг на друга снопы – тогда они были в форме кирпичей – которые выдавала ему машина. Я ехал рядом с валками, которые она с жадностью заглатывала, до конца луга. Там, если разворот требовал сложного маневра, я предупреждал отца гудком, потому что мои ноги были коротковаты и с трудом доставали до педалей. Он мгновенно скатывался со сложенных снопов, догонялдвигающийся трактор, залезал в него и направлял на следующую полосу. Он был в прекрасной спортивной форме, с орлиным зрением, которое долго казалось мне каким-то шестым чувством. Прищурившись, он одним взглядом окидывал отдаленные окрестности и часто обнаруживал неуловимые детали или изменения природного равновесия. Тогда он внезапно заявлял: «Завтра будет дождь» – или: «Форель будет хорошо клевать, можно порыбачить». Его подпольная деятельность по борьбе с размещением военной базы в нашем регионе, а также – в разумных пределах – занятия браконьерством и контрабандой в конце концов обострили его природные склонности.

Большими охапками мы разложили в кормушки траву, которую отец привез с луга. Сверху – по порции измельченных зерен, и можно открывать ясли. Коровы просовывают головы между открытых деревянных пластин и подходят к еде. Ясли закрываются вокруг коровьих голов, ограничивая их движения. Теперь, когда животные зафиксированы, можно начинать дойку и уборку стойла.

Через несколько лет наш «Хюрлихлам», который слишком часто разлаживался и оказывался «на операционном столе», был заменен на другой трактор: «Форд-5000», синего цвета. Мне было лет десять, и для меня его появление было настоящей трагедией – именно из-за его цвета. Он же синий! В моем представлении о мире и сверхсильных машинах трактор не мог быть синим, желтым или белым, это же цветочные оттенки. Ему надлежало быть красным, зеленым или черным. Мои протесты и даже слезы не поколебали решимости отца, который хладнокровно расписался под переменной цвета.

И все же этот дизельный агрегат, хотя и синий, оказался совершенно необыкновенным. Он был сильным, надежным, неутомимым, *а еще...* никогда не ломался. И постепенно, несмотря на свой огромный первоначальный недостаток, он стал моим трактором. Он покорила меня еще и своей быстротой – он явно превышал дозволенные пределы – и благородным рычанием, особенно при переключении скоростей, *а больше всего – при* движении задним ходом, с двойным переключением сцепления и повышением оборотов педалью газа. Его коробка передач не имела синхронизатора, и нужна была определенная ловкость, чтобы произвести этот маневр без единого скрипа шестерней во время движения под гору, когда прицеп с пшеницей всеми своими тоннами мешал торможению. В ожидании, *когда мне исполнится* четырнадцать

– а значит, я получу права – отец отвозил меня на наши земли, считавшиеся частной собственностью. Мне просто надо было оставаться внутри их границ, чтобы не оказаться «вне закона». И так я мог их обрабатывать на своей огромной игрушке.

Теперь лошадей уже не было, вместо них завели еще двух коров. У нас их пятнадцать, но доим мы в среднем двенадцать, так как две – три должны телиться. А еще доить стало проще с тех пор, как мы переоборудовали стойла так, чтобы делать это с помощью машины. Обычно мой брат Бернар занимается этим один, за исключением таких вечеров, как сегодня, когда мы сильно задержались. Я прихожу ему на помощь, чтобы ускорить темп, так что каждый занимается одним из двух аппаратов.

Из всех сельских работ больше всего мне нравилась пахота. У нас был плуг с двумя лемехами, и мне никогда не надоедало смотреть, как земля, под действием отвала и дерноснима, разворачивается на два свежих валка, и порой, если глубина и скорость были хорошо отрегулированы, небольшие комочки земли осыпаются на дно борозды. Эта земля все время меняла цвет, текстуру и консистенцию. Здесь она глинистая, плотная и жирная, там известняк – легкий и рассыпчатый, а еще дальше – скальные породы, которые следовало обходить, чтобы не повредить лемех. Вороны ныряли в свежие борозды – их привлекали земляные черви, оказавшиеся на поверхности, а иногда кроты и землеройки. Одним взглядом я мог оценить, сколько нужно распахать борозд, чтобы разрыхлить пахоту для сева. Я также определял по качеству почвы толщину пахотного слоя, состав валка и урожай злаков будущим летом. А еще эту работу делали в основном осенью, в мое любимое время года, с яркими контрастными красками, свежим порывистым ветром, плотными подвижными облаками, влажной землей, набирающей сил.

Габриэль ждал нас на прицепе с бидонами. Когда мы наполняли молоком два последних бидона, на колокольне било половину восьмого. Габриэль поспешил к молочнику. По счастью, это недалеко, а бегают он быстро. Конечно, молочник не откажется принять у нас молоко из-за опоздания на несколько минут.

Я оставил молока на доньшке для наших кошек. Они уже пришли и ждали. Их было от пяти до восьми, они жили дикими на ферме и вокруг нее. Они завораживали меня. Мы видели, как они грациозно прогуливаются по балкам кровли на десятиметровой высоте. Ни одна из них никогда не упала. Нам никогда не удавалось их поймать. Они подпускали к себе только метров на десять; иногда, если быть очень терпеливым, на пять, и снова убегали на свою территорию. Но они любили молоко и приходили утром и вечером, чтобы получить свою порцию.

В то время жизнь каждого из нас была тесно связана с Природой. Конечно, сельское хозяйство модернизировалось, и мы следовали за его изменениями. И все же в то время мы еще соблюдали некоторые традиции, такие как севооборот, чтобы побережь нашу землю, и вся наша машина цеплялась к одному и тому же трактору. Просто дизель без кабины, без гаджетов, без электроники. Просто мотор на четырех колесах. Такая механизация была весьма хлипкой, если учесть, какие участки земли мы обрабатывали, какие возделывали луга, какие распахивали борозды. Что до наших земель – сейчас они считались бы клочками – они были поделены на части и разбросаны по всем закоулкам округа, часто с купой деревьев, обозначающей центр или края.

Покончив с дойкой, я принялся за подстилки. Я предпочитал класть пшеничную солому. Она красивого цвета, а главное – ее легко можно

распушить вилами, она быстро становится объемной и позволяет за короткое время покрыть всю территорию, которую занимает скот. Если солома качественная – а она качественная, если ее успели связать в охапки до того, как она намокнет под дождем, – это последнее действие всегда происходит быстро, от силы десять минут на каждое стойло.

У нас не было сезона отдыха. Скотина задавала нашим рукам работы ежедневно, а позже, когда растения зимовали, мы отбывали повинность в лесу. Мы всегда были на воздухе, невзирая на погоду, на милость или разгул небесной стихии. Только молния могла нас напугать. Нужно сказать, что нам отсыпали достаточно историй о разбитых в щепки деревьях, о стадах, целиком пораженных электрическим разрядом, или о сгоревших фермах, чтобы разжечь последние искорки суеверий и страхи, не всегда рациональные. И потому, когда ранний вечер вдруг погружался в холодный полумрак, отец распахивал дверь в сад и с бравадой в голосе кричал каждый раз, как поблизости раздавался удар грома: «Давай, лупи сюда!» – а мать потихоньку зажигала свечку.

Теперь стойла приобрели желто-оранжевый цвет, и я открыл ясли. Все животные одновременно отступили назад. Удивительно, до чего сильны их привычки: не нужно ничего им приказывать, не нужны даже жесты. Я снова закрыл ясли, пока животные укладывались отдыхать. Братья вскоре догнали меня. Вместе мы принялись раскладывать корм на завтрашнее утро. На заре отцу останется только открыть ясли. В обратном движении те же головы высунутся на тех же местах, поедят и дадут нам подоить. Когда мы погасили свет в коровнике и заперли двери, была половина девятого. Дождь так и не перестал. Но заканчивать игру мы не стали не из-за дождя: стало слишком темно. Мы забрали рубашки из-под навеса и ушли в дом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.